

СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ

ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ПРИ НАЦИСТАХ



18+

НИКОЛАС СТАРГАРДТ

От автора мирового бестселлера «Мобилизованная нация: Германия 1939–1945»

Николас Старгардт

**Свидетели войны. Жизнь
детей при нацистах**

«Азбука-Аттикус»

2005

УДК 94(430).086
ББК 63.3(4)6

Старгардт Н.

Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах / Н. Старгардт —
«Азбука-Аттикус», 2005

ISBN 978-5-389-24757-4

Книга Николаса Старгардта, оксфордского профессора, одного из самых авторитетных историков нацизма, является уникальным исследованием, где впервые представлена социальная история нацистской Германии глазами детей. Серьезный исторический труд основан на оригинальных документах – дневниках подростков, школьных заданиях, детских рисунках из еврейского гетто Терезиенштадт и немецкой деревни в Шварцвальде, письмах из эвакуационных лагерей, исправительных учреждений, психиатрических приютов, письмах отцам на фронт и даже воспоминаниях о детских играх. Среди персонажей книги – чешско-еврейский мальчик из Терезиенштадта и Освенцима, немецкий подросток из Восточной Пруссии, две еврейские девочки из Варшавского гетто, немецкая школьница из социалистической семьи в Берлине, два подростка из гитлерюгенда, еврейский мальчик из Лодзи. Профессор Старгардт утверждает, что воспоминания о нацистской Германии разделили детей на две группы: на тех, кто воспринимал жизнь в ней как нормальную, и тех, у кого она вызывала ужас. Именно поэтому точные события, которые они запомнили, имеют огромное значение. Автор разрушает стереотипы о жертвенности и травмах, чтобы рассказать нам захватывающие личностные истории, истории поколения, созданного Гитлером. Сохранен издательский макет.

УДК 94(430).086
ББК 63.3(4)6

ISBN 978-5-389-24757-4

© Старгардт Н., 2005
© Азбука-Аттикус, 2005

Содержание

Благодарность	8
Право на имя	11
Действующие лица	13
Введение	14
Часть I. Домашний фронт	25
1. Немцы на войне	25
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Николас Старгардт

Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах

Nicholas Stargardt
WITNESSES OF WAR
Children's Lives under the Nazis

© Nicholas Stargardt, 2005

© Степанова В.В., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023

КоЛибри®

* * *

«“Свидетели войны” – опирающаяся на основательное научное исследование и великолепно написанная глубоко оригинальная работа. Старгардт разворачивает перед нами душераздирающий и не оставляющий никого равнодушным отчет о жизни детей в нацистскую эпоху». – Иэн Кершоу

«Необычно и захватывающе... Глубоко трогаящая и полная сочувствия реконструкция жизни детей в Европе во времена Второй мировой войны говорит сама за себя». – Ричард Овери, *Literary Review*

«Старгардт блестяще угадывает смыслы по мечтам, фрагментам воспоминаний, рисункам и предметам привязанности. Он в равной степени употребляет свое мастерство, чтобы показать трагедию детей на руинах Варшавского гетто и ужас немецких младенцев, прижимающихся к матерям в заполненных каменной пылью бомбоубежищах... Заключительная глава – одно из лучших исторических произведений о последствиях войны, которые я когда-либо читал». – Дэвид Чезарани, *Guardian*

«XXI век обещает быть не менее воинственным, чем XX, поэтому нам нужны такие произведения, как книга Старгардта, напоминающие нам и нашим лидерам, что такое на самом деле война». – Джон Кэри, *Sunday Times*

«Блестящее изображение Второй мировой войны глазами молодых людей». – *Evening Standard*, «Книги года»

«Дети – те, о ком обычно забывает история. За грохотом яростных битв, в которых полководцы решают судьбы империй, их никогда не бывает видно. Тем не менее, как показывает Николас Старгардт в душераздирающем повествовании о жизни детей при нацистах, обходить их вниманием – значит оставить историю лишь наполовину написанной. Это превосходная книга, и она рассказывает ужасную историю... Как красноречиво напоминает нам Старгардт, трагедия заключается в том, что дети всегда были частью этого уравнения и поэтому страдали». – Тревор Ройл, *Sunday Herald*

«Новая захватывающая книга Николаса Старгардта о том, что происходило с детьми Европы, жившими при нацистском режиме... Старгардт рассказывает поистине чудовищную историю: это репортаж о бесконечных скитаниях невинных по Европе и сага о жестокости, голоде, разлуке, потерях, ужасных страданиях и бесчисленных жизнях, окончившихся смертью». – Джульет Гардинер, *Daily Mail*

«Важная книга, посвященная предмету, который ранее не рассматривался должным образом... Вносит существенный вклад в наше понимание нацистского режима и его последствий... Превосходно». – Приложение к *Times Higher Education Supplement*

«Среди потока ежегодно издающихся книг о Гитлере и его войне иногда появляются шедевры. “Свидетели войны” – один из них... Доктор Старгардт написал превосходно проработанную книгу, рассмотрев труднейшие вопросы в ясном и спокойном стиле, которым он так восхищается в трудах Примо Леви». – *Oxford Times*

«Великолепно». – Беттани Хьюз, *Sunday Herald*, «Книги года»

«Обязательно к прочтению». – *Sunday Business Post*

«Выдающаяся книга, глубоко трогаящая и захватывающая, вполне способная стать современной классикой». – Уильям Д. Рубинштейн, *History Today*

«Впечатляющий объем исследования и вместе с тем захватывающее чтение, полное свежих наблюдений». – *BBC History Magazine*

Благодарность

Весной 1994 г. я посетил Еврейский музей в Праге, чтобы изучить коллекцию рисунков детей из нацистского гетто Терезиенштадт. Некоторые рисунки я уже видел годом ранее на небольшой выставке в Праге, посвященной уничтожению чешских евреев, другие знал по публикациям музея. Но я понятия не имел, сколько их на самом деле и насколько они разнообразны. Одни были нарисованы на упаковочной бумаге, другие на старых чешских бланках, оставшихся с тех времен, когда город был военным гарнизоном. Краски на них были не такими яркими, как на репродукциях, которые я видел, — напрашивался обманчивый вывод, что дети в еврейском гетто выбирали для выражения своих эмоций определенные цвета, хотя в действительности они просто использовали те, которые были им доступны. Меня глубоко заинтересовали карандашные наброски сцен из повседневной жизни детей, большая часть которых нигде не выставлялась. Чтобы разобраться в них, требовалось гораздо больше узнать о том, в каких условиях жили дети, и здесь мне на помощь пришли двое ученых, в детстве также прошедших концлагеря: Анита Франкова в Праге и Эрик Полак в Терезине оказались бесценными проводниками по архивным записям гетто.

Эта первая попытка выяснить, что значит писать историю с точки зрения ребенка, убедила меня в том, что дело того стоит, и мне стало интересно, какие существуют источники о других группах детей, живших в тот же период в нацистской Германии. Годовой отпуск в Германии в 1997–1998 годах дал мне возможность выяснить это. Некоторые зацепки не сработали: изучая документы дорожной полиции за 1930-е и 1940-е годы в попытке выяснить, как играли дети, когда попадали в уличные аварии, я потратил слишком много времени и сил, чтобы проверить то, о чем хорошо помнили многие мемуаристы. Иногда случайные встречи приводили к необычным находкам, таким как личные дела детей, помещенных в попечительские заведения, или обширная частная коллекция документов, собранная писателем Вальтером Кемповски. Повсюду меня встречали щедрая помощь и любопытство, — многих удивляло, почему человек, явно не немец и не из поколения детей войны, хочет узнать такие вещи. Многие из моих старших немецких коллег спонтанно делились своими детскими воспоминаниями, которые остались со мной и помогли по-новому взглянуть на источники, которые я изучал. Невозможно читать письма детей к родителям из исправительных учреждений или эвакуационных интернатов и не задаться вопросом, каково это — поддерживать семейные отношения в периоды длительной разлуки. И здесь я в большом долгу перед моим сыном Анандом, который с самого начала вдохновлял меня, невзирая на разделяющие нас расстояния.

Сознательно решив взяться за разработку ранее не получившей глубокого исследования исторической проблемы, я знал, что это потребует времени, и я благодарен ряду институтов за то, что они сделали это возможным. Центрально-Европейский университет оплатил мое пребывание в Праге, а Австралийский национальный университет — поездку в Канберру. Фонд Александра фон Гумбольдта финансировал год работы в Институте истории Макса Планка и Геттингенском университете. Условия академического отпуска в Ройял-Холлоуэй (Лондонский университет), Колледже Магдалины и на факультете современной истории в Оксфорде, а также творческого отпуска, финансируемого Советом по исследованию искусств и гуманитарных наук, дали мне достаточно времени, чтобы начать работу над книгой. Годовая исследовательская стипендия от Британской академии позволила завершить работу над обширным первичным черновиком. Я также хотел бы поблагодарить редакторов *Past & Present* за разрешение использовать материал, который они впервые опубликовали в моей статье о детском творчестве времен Холокоста.

Как все длительные начинания, этот проект не раз преображался под влиянием многих людей. Дискуссии со студентами, коллегами и друзьями из Великобритании, Австралии,

Германии, Израиля, Швейцарии и Австрии расширили мое понимание нацистского периода и истории детства и многому научили меня, показав, на какие вопросы история может ответить, а какие должны оставаться открытыми. В частности, я хотел бы поблагодарить следующих людей (надеюсь, они узнают какую-то часть себя в этой книге): Линн Абрамс, Шарлотта Аппель, Стефан Бергер, Ричард Босворт, Рут Боттигхаймер, Лоуренс Броклисс, Кэтрин Кларк, Мартин Конвей, Мартин Дин, Нинг де Коннинг-Смит, Ниалл Фергюсон, Кэтрин Фицгерберт, Энтони Флетчер, Джулиан Ферст, Мэри Фулбрук, Сол Фридлендер, Роберт Гилдеа, Хелен Грэм, Эбигейл Грин, Юэн Грин, Валентин Грёбнер, Атина Гроссманн, Ребекка Хабермас, Криста Хаммерле, Энтони Харрис, Лиз Харви, Паула Хилл, Герхард Хиршфельд, Игаль Хоффнер, Георг и Вильма Иггерс, Иэн Кершоу, Хартмут и Силке Леманн, Петер Лонгерих, Венди Лоуэр, Хельга и Альф Людтке, Петра Лутц, Гай Маршал, Ганс Меддик, Ганс Моммзен, Джон Найтингейл, Джереми Ноукс, Билл Новак, Ричард Овери, Йоханнес Паульманн, Дэниел Пик, Александр фон Плато, Хартмут Погге фон Страндман, Майк Роупер, Улинка Рублак, Давид Сабеан, Карен Шонвальдер, Райнхард Зидер, Гарет Стедман Джонс, Виллибальд Стейнмец, Корнелия Усборн, Ник Вахсман, Том Вебер и Пол Вейндлинг. Джейн Каплан, Ричард Эванс, Джен Ламбертц и Адам Туз щедро комментировали черновики отдельных глав, а Джен также поделилась со мной материалами, которые обнаружила в ходе собственного исследования в архивах ООН. Будь мой отец жив, ему, наверное, показалось бы странным видеть те части мира, в которых он вырос, моими глазами. Но, посвятив свою жизнь изучению других культур, они с мамой дали мне самую вескую причину полагать, что подобное интеллектуальное любопытство само по себе действует жизнеутверждающе.

Неоценимую помощь мне оказали некоторые архивариусы и библиотекари, в особенности Анита Франкова и Михаэла Хайкова в Праге, Анна-Мария Клаук и Кристоф Шонбергер в Лондоне, Гюнтер Мюллер в Вене, Кристина Ванья в Касселе и Петер Видман в Берлине. И я в особом долгу перед Вальтером и Хильдегард Кемповски, которые открыли для меня свой дом и бесценный личный архив, работать в котором мне помогал Дирк Гемпель. Я многое узнал от своей бывшей аспирантки Ширли Гилберт, изучавшей музыку в гетто и лагерях. Она разыскала и перевела на идиш песни, которые я использовал в своей работе, и проверила всю рукопись. На последних этапах мне очень пригодилась помощь Зофии Стемпловской с польскими материалами и составленный ею словарь топонимов. Джулия фон дем Кнезбек и Анна Менге обнаружили последние несколько второстепенных работ на немецком языке, а Анна составила по моим заметкам библиографию. Анна, Зофия и Эбигейл Канделас помогли мне с окончательной проверкой рукописи.

Клэр Александер, мой литературный агент, взялась за эту книгу с интуитивным пониманием того, что я пытался сделать, и с мудростью, которую дает целая жизнь, посвященная работе с рукописями и их авторами. Салли Райли превратила поиск издателей, готовых переводить книгу на другие языки, в увлекательное приключение. Мне очень повезло с моими редакторами. Уилла Салкина и Йорга Хенсгена из *Jonathan Cape* объединяет любовь к книгам и страсть к спорам и новым идеям – результатом стала прекрасная совместная работа вплоть до последней записи в указателе. Розалинда Портер неизменно успешно справлялась со всеми запросами, выпускающий редактор Ильза Ярдли отнеслась к тексту с пристальным вниманием, а Том Дрейк-Ли стал лучшим проводником по другой стороне издательского дома.

Когда я написал свою первую книгу, то был слишком застенчив, чтобы кому-то ее показывать. С этой книгой мне повезло – у меня нашлись друзья, готовые прочитать ее всю целиком. Розамунд Бартлетт, Дик Бессел, Этьен Франсуа, Рут Харрис, Хайнц Любаш, Иэн Пирс, Линдал Ропер, Марк Розман, Ричард Шеппард и Бернд Вайсброд – все они пустили в ход свои разные и такие потрясающие умения, и каждый нашел ошибки, которых не заметили остальные. И все они подталкивали меня в нужном направлении, напоминая всякий раз, что я должен ставить на первое место детей, когда обширный контекст Второй мировой войны и нацизма

угрожал изменить ход повествования. Я знаю, что без их критики эта книга была бы намного хуже. И без их дружбы и поддержки мне, возможно, не удалось бы переписать ее еще раз.

Еще больше я обязан Рут, Иэну и Линдалу: за последние десять лет они прочитали и услышали об этом периоде истории намного больше, чем когда-либо хотели, и помогли мне лучше понять, что именно я пытаюсь сказать. Приступая к работе, я задавался вопросом, можно ли считать детский опыт «настоящей» историей. Мой партнер Линдал Ропер дала мне самый лучший совет: работай над тем, что тебе действительно важно. За прошедшие годы я очень многому научился у нее, и вряд ли смогу когда-нибудь сполна ее за это поблагодарить. Именно Линдал и моим сыновьям Ананду и Сэму, которые постоянно напоминали мне, каким свежим взглядом дети смотрят на мир, я посвящаю эту книгу.

Николас Старгардт

Право на имя

Обладание собственным именем – одна из наиболее элементарных форм индивидуального самосознания. Узникам Освенцима [Аушвица] имя заменял вытатуированный на предплечье номер, и сохранение памяти о Холокосте не в последнюю очередь связано с возвращением имен жертвам нацистского геноцида – только это позволяет по-настоящему вспоминать их как людей. В некоторых случаях их имена менялись при переводе на другие языки и переходе в другие юрисдикции. Там, где это возможно, я сохранял те имена, которыми люди пользовались в описываемый период времени: например, Мэри Берг, под этим именем она стала известна, когда опубликовала свой дневник в Нью-Йорке в 1945 г., здесь упоминается как Мириам Ваттенберг, это имя она носила в Варшавском гетто.

Я хотел бы назвать поименно всех детей в этой книге. Но этому не суждено было случиться. Федеральный закон Германии о персональных данных защищает личность человека на протяжении всей его жизни и жизни его ближайших родственников. Этот запрет, не позволяющий раскрывать настоящие имена людей, создает технические сложности для каждого историка, намеренного одинаково объективно относиться ко всем своим героям. Нельзя называть имена не только бывших членов гитлерюгенда. Запрет распространяется также на имена детей-пациентов, убитых в психиатрических лечебницах Третьего рейха, – они остаются анонимными жертвами Холокоста. В этой книге появляется множество детей, и многих из них зовут одинаково, и если бы я называл их просто по имени, это вызвало бы путаницу. Поэтому для детей (в основном немецких и австрийских), чью личность защищает упомянутый выше закон, мне пришлось придумать псевдонимы. В таких случаях я сохранял исходное личное имя и выбирал фамилию, начинающуюся с той же буквы и происходящую из той же области Германии. Читатель может легко установить, в каких случаях это было сделано, ознакомившись с концевыми сносками: например, Дирк Зиверт в примечаниях превращается в Дирка З. – инициал указывает, что имя в тексте является псевдонимом. В тех немногих случаях, когда мне не удалось установить фамилию (обычно в случае, когда сведения были получены из другой публикации, где человек уже фигурировал анонимно), я просто использовал личное имя само по себе.

С названиями населенных пунктов дело обстоит ничуть не проще, чем с именами людей. Города на протяжении веков нередко меняли названия в зависимости от того, на каком языке говорило их многонациональное население или в чью политическую юрисдикцию они попадали. Решение в духе реалистического кино, где каждый говорит на своем языке и называет место по-своему, несомненно, озадачило бы читателя, хотя альтернативный вариант, в котором немцы называли бы город Познанью, а поляки – Позеном, звучит не лучше. В общем и целом я старался придерживаться тех названий, которые в тот или иной период использовали официальные власти: так, Терезиенштадту в 1945 г. вернули его чешское название Терезин. Особенно сложный случай представляет собой Польша с историей ее разделов между крупными державами и изменения границ в 1939–1945 гг. Для периодов до начала немецкой оккупации и после освобождения я использую польские названия мест. Для периода немецкой оккупации я в большинстве случаев использую польские названия для городов Генерал-губернаторства на территории Центральной Польши и немецкие названия для областей, формально присоединенных к Великому германскому рейху. Однако я сделал два исключения из этого правила для Лодзи и Гдыни, сохранив для них польские названия, поскольку их нацистские названия Лицманштадт и Готенхафен не имели никакой предыдущей истории: Гдыня была построена в 1920-х гг., чтобы обеспечить Польшу порт на Балтийском море, а Лодзь проживающее в этом городе немецкое меньшинство до 1939 г. всегда называло Лодшем. Литовский город Вильнюс, или Вильно, как он назывался во времена польского правления в 1920-х и 1930-х гг., я

всегда называю на идише, поскольку в повествовании чаще всего фигурирует именно еврейская Вильна. Ради простоты я также не пытался русифицировать названия городов Восточной Польши для периода 1939–1941 гг. Надеюсь, большинство недоразумений читатели смогут прояснить, сверившись с картами и глоссарием географических названий, а мне придется лишь извиниться за любые оставшиеся ошибки. Имена не нейтральны – работая над этой книгой, я обнаружил, что право давать людям и местам имена остается неотъемлемой частью наследия Второй мировой войны.

Действующие лица

Иегуда Бэкон – чешско-еврейский мальчик из Терезина и Освенцима
Мартин Бергау – немецкий подросток из Пальмникена (Восточная Пруссия)
Лотар Карстен – член гитлерюгенда из Вупперталя
Янина Давид – еврейская девочка из Варшавского гетто
Томас Геве – еврейский мальчик из Берлина, перевезенный в Освенцим
Лизелотта Гюнцель – немецкая школьница из семьи социалистов в Берлине
Янина – польская девочка из села Борова-Гора
Ванда Пишбыльска – польская девочка из Варшавы
Клаус Зайдель – член гитлерюгенда и помощник ПВО люфтваффе из Гамбурга
Давид Сераковяк – еврейский мальчик из Лодзи
Дирк Зиверт – шестиклассник из Оснабрюка (в начале войны)
Фриц Тайлен – подросток из Кельна, член движения «Пираты Эдельвейса»
Уве Тимм – малолетний ребенок из Гамбурга и Кобурга
Мириам Ваттенберг – еврейская девочка из Варшавского гетто

Введение

Оглядываясь на свое детство, Катрин Тиле никак не могла свести воедино счастливые личные воспоминания и то, что ей стало известно о нацистской Германии. «Неужели все нацисты, которых я знала, – почти все, кого я любила, – действительно были такими отвратительными извергами, как их стали изображать позднее?» – думала она. Катрин, как и многим другим детям ее поколения, попросту не удавалось поставить в один ряд неопровержимые свидетельства массовых убийств с теми нацистскими идеалами, которые ее «приучили чтить, с такими понятиями, как самопожертвование и верность долгу» [1].

Окончание войны резко разрушило стабильную и благоустроенную жизнь семьи Катрин. Ее отец при нацистах 12 лет служил чиновником, а затем офицером вермахта, и теперь его преследовали американские военные и немецкая гражданская полиция. Арестованный и интернированный по совершенно непонятным Катрин причинам, он на следующие три года исчез из ее жизни. Тем временем ее мать, родившуюся в Лондоне незадолго до Первой мировой войны, «репатриировали» вместе с двумя детьми в страну, которую они считали своим национальным врагом. В 1946 г. десятилетняя девочка покинула Германию и переехала в Великобританию, в одночасье превратившись из Катрин Тиле в Кей Норрис. Со сменой имени пришла полная смена разговорного языка, национальной идентичности, допустимых тем для беседы и социальной системы координат. Кей постепенно училась быть английской школьницей. Воспоминания, в основном связанные с войной, которая началась, когда ей было всего три года, оставались вынужденно закрытыми в ее сознании до тех пор, пока не настало такое время, когда она смогла обратиться к ним без лишних опасений.

Хотя родители Катрин позднее развелись, ей еще дважды выпадала возможность увидеться с отцом и разобраться в причинах внезапного разрушения их семьи. В 1949 г., когда ей исполнилось 13 лет, она вместе со своим старшим братом Удо приехала к отцу и его новой жене на выходные в рождественские каникулы. Это было во многих смыслах счастливое воссоединение, и вместе с тем оно глубоко потрясло ее. Ее немецкий и ее эмоциональные отношения с отцом словно застыли в тот момент, когда она уехала из страны три года назад. Она не могла внятно выразить приобретенные в Англии новые взгляды и идеи, а он, казалось, был только рад относиться к ней как к маленькой девочке, которую видел в последний раз. Он и выглядел совсем не так, как в ее воспоминаниях и воображении. Исчез затянутый в униформу бодрый мужчина с острыми чертами лица, фанатично преданный делу и учивший этому своих детей. Но он не был и сломленным, отчаявшимся узником, которого Катрин представляла себе в те два года, пока его держали под стражей. Вместо этого перед ней предстал лысеющий мужчина, несколько располневший и потрепанный жизнью, но, похоже, отнюдь не нуждавшийся в ее помощи. Он начал все заново, нашел хорошую работу и поселился в очаровательном доме в Гарце с красивой женщиной, старой подругой семьи, которая давно обожала его.

Катрин обнаружила, что больше не понимает взглядов своего отца. Что случилось с теми внутренними убеждениями, которые он так старательно прививал своим детям? Даже в 1956 г., приехав навестить его в первое лето своей учебы в Оксфорде, она осознала, что снова возвращается к эмоциональному сценарию «папа и его маленькая девочка». От его прежнего нацистского «я» осталась лишь глубокая ностальгия по Третьему рейху, особенно по тому времени, когда он был солдатом; и он отказывался принять масштабы геноцида евреев. Обосновавшись в Канаде, он, казалось, просто поставил перед собой новые цели и превратился в еще одного трудолюбивого и энергичного члена сообщества немецких иммигрантов. Она чувствовала себя непонятой. Он как будто не осознавал, что его дочь осталась верна тем принципам, которые он ей прививал. Там, где она узнавала нацистские коллективные добродетели – *Pflicht, Treue, Wille, Volk* (долг, верность, воля и служение нации) – в таких одобряемых английских качествах, как

ответственность, честность, твердость духа и стремление сделать мир лучше, он высмеивал ее мечтательный идеализм. Оказавшись в двух англоязычных странах по разные стороны Атлантического океана, поколение, создавшее нацистскую Германию, и поколение, созданное ею, были так далеки друг от друга, как только могут быть далеки любящие отец и дочь [2].

Пожалуй, в каком-то смысле опыт Катрин отличался от опыта ее оставшихся в Германии сверстников не так сильно, как ей казалось. Многие немецкие дети войны обнаружили, что им непросто общаться с родителями, особенно восстанавливать эмоциональный контакт с отцами, в 1939–1948 гг. находившимися на войне или в лагерях для военнопленных. В 1950-е гг. в немецких семьях было принято избегать многих тем. Это поколение детей Третий рейх отметил сильнее прочих. Мужчины и женщины, которые пронесли свастику по всей Европе, могли обратиться к собственным детским воспоминаниям, не затронутым нацистскими лозунгами и эмблемами. Многим, как отцу Катрин, впоследствии оказалось проще отбросить ценности и цели, не способствовавшие успеху в послевоенном мире. Но их дети не знали никакого другого мира, и в период становления личности усваивали нацистские ценности и изречения точно так же, как наставления о необходимости тщательно умываться, опрятно одеваться и быть вежливыми. Неудивительно, что после войны представители этого поколения чувствовали, будто любая серьезная конфронтация с миром, к созданию которого приложили руку их родители, угрожает их самосознанию и представлениям о себе как о взрослых ответственных личностях. Многим оказалось легче продолжать исполнять свой долг и служить нации в новых учреждениях Восточной и Западной Германии [3].

В сущности, Катрин не пыталась вспомнить и изучить историю своей семьи вплоть до начала 1990-х гг. В этом смысле она не слишком отличалась от своего поколения. И дети тех, кто сочувствовал нацистам, и еврейские дети, пережившие гетто и концлагеря в ходе «окончательного решения еврейского вопроса», нередко писали мемуары, только выйдя на пенсию и задавшись вопросом, как рассказать внукам о тех событиях, которые они нередко старались скрыть от своих детей.

В 1988 г. жители Западной Германии отметили пятидесятую годовщину «Хрустальной ночи» – нацистского антиеврейского погрома в ночь на 9 ноября 1938 г., ознаменовавшегося массовым насилием, убийствами, поджогами синагог и разграблением квартир и магазинов, когда погибло около ста человек, а 25 000 мужчин-евреев затем были отправлены в концлагеря. В 1988 г. правительство Западной Германии довольно неловким и неуклюжим образом попыталось организовать общенациональные мемориальные мероприятия, и местные власти во многих областях подхватили эту инициативу. В эти дни Лоре Вальб, известную журналистку из Южной Германии, чаще обычного преследовали сны о евреях. В повторяющемся сне она снова становилась молодой студенткой из Гейдельберга во время войны, и у нее на пороге внезапно появлялся школьный одноклассник-еврей, умолявший пустить его к себе хотя бы на день или два. Каждый раз Лоре Вальб просыпалась, так и не приняв никакого решения. Дочь убежденных нацистов, она никак не пострадала во время войны, а вскоре после ее окончания начала карьеру на радио в Южной Германии.

27 ноября 1988 г., меньше чем через три недели после основных мероприятий в память о «Хрустальной ночи», она записала в дневнике другой сон. В нем она снова была молодой женщиной и шла по улице рядом с пожилым евреем с узким благообразным лицом и бородкой-клинышком, в длинном пальто и широкополой шляпе. Положив руку на его костлявое плечо и склонив к нему голову, она сказала, едва не плача от облегчения и радости: «Я так рада, что ты вернулся». Как многие другие сны, порожденные несбыточными желаниями, этот сон обозначал проблему, но не предлагал никакого ее решения. Евреи не вернулись, и она не могла просить у них прощения. И сама она еще не посчиталась с собой и не простила себя. Но вместо того, чтобы закрыть эту главу своей жизни, 69-летняя женщина решила отправиться в

мысленное путешествие, которое она многозначительно назвала «станциями на пути работы памяти» [4].

Результатом этого путешествия стало своего рода публичное признание в форме частного самоанализа, в котором пожилая женщина перечитывала и комментировала собственные подростковые дневники. К дневникам прилагался семейный фотоальбом, запечатлевший тот славный момент в 1932 г., когда она тринадцатилетняя стояла перед фюрером на местном стадионе под взглядами 25-тысячной толпы. И еще один публичный момент в ноябре 1933 г., когда в честь десятой годовщины гитлеровского «Пивного путча» она читала в аудитории стихи перед старшими чиновниками провинциального Департамента образования. Когда началась война, Лоре Вальб поступила в университет. Вместе с подавляющим большинством немцев она приветствовала падение Франции в июне 1940 г., и так же, как все, возмущалась Британией, продолжавшей бессмысленно затягивать войну. «На этот раз фюреру не следует проявлять излишнюю гуманность, – писала она 17 июня. – На этот раз ему стоит сделать англичанам серьезное предупреждение, ведь они одни повинны во всех несчастьях и страданиях, обрушившихся на разные народы».

Перечитывая собственные записи, Лоре Вальб осознала, что у нее не было никакого внутреннего барьера, способного помешать ей впитывать и усваивать ключевые тезисы нацистской пропаганды. После нападения на Советский Союз она лишь вскользь упомянула о гибели юношей из числа своих друзей, уделив намного больше внимания военному и политическому значению целей, за которые они погибли. «Большевизм» и «русские недочеловеки», «баснословные успехи Японии» против Тихоокеанского флота Соединенных Штатов, собственные мысли о том, как уговорить мать позволить ей поступить в докторантуру, сочувствие к немецким солдатам, замерзающим на Восточном фронте, – клише громоздились одно поверх другого на каждой странице. На каждом шагу она заимствовала из средств массовой информации ключевые фразы, необходимые для осмысления событий, и под видом личных размышлений излагала лозунги и сентенции Геббельса. Полвека спустя, находясь в системе совершенно противоположных ценностей и истин другой эпохи, она снова столкнулась с собственным, внешне ничем не примечательным нацистским прошлым и испытала глубокое моральное потрясение [5].

Дневник Лоре Вальб исчерпывающе раскрывает ту внутреннюю нравственную вовлеченность, избавиться от которой после войны Катрин Тиле оказалось гораздо труднее, чем от собственного имени, национальности и языка. Даже в самом конце войны, когда Вальб узнала, что ее родной город сдали французам, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, она писала об этом не с облегчением, а с разочарованием. Что бы ни подсказывал разум, глубоко в душе она продолжала цепляться за романтические идеалы верности и национальной жертвы. Когда местные власти, наконец, подняли белый флаг, она почувствовала «глубокий стыд и унижение». В письме от 26 апреля 1945 г. она оплакивала «миллионы солдат, которые много лет сражались и до сих пор продолжают сражаться на фронте впустую». В тот момент все казалось нелепым и бессмысленным [6].

Размышляя обо всем, что ей стало известно за десятилетия после войны и чего не было в ее дневнике, – например, о сотнях тысяч узников концлагерей, отправленных тюремщиками в бессмысленные «марши смерти» в последние месяцы войны, – Лоре Вальб пыталась представить себе страдания тех, кому посчастливилось выжить. И все же, когда она думала о войне, перед ее мысленным взором первыми возникали лица погибших молодых немцев: Рольфа, Гюнтера, братьев Герхарда и Хайнца и ее жениха Вальтера, убитого в последнюю неделю войны во время боев в Вене. Как у многих женщин, родившихся в 1909–1929 гг., у Лоре Вальб имелась еще одна причина вспоминать их. Им больше не за кого было выходить замуж [7].

В один из выходных дней в марте 1988 г. Мартин Бергау и другие выросшие дети войны собрались на тихую встречу в Кельне. Это собрание устраивали каждый год для семей из Пальмникена, города в бывшей Восточной Пруссии на Земландском полуострове. Большинство из них бежало на Запад, спасаясь от Красной армии, в 1945 г., другие уехали позднее. Среди приглашенных Бергау встретил женщину, которая напомнила ему о событиях, свидетелем которых он стал, будучи пятнадцатилетним членом гитлерюгенда, в те роковые дни начала 1945 г. Мать этой женщины, Берта Пулвер, спрятала у себя молодую еврейку, выжившую во время расправы над узниками концлагеря (преимущественно евреями), которую эсэсовцы устроили на берегу замерзшего Балтийского моря при помощи местных ополченцев из фольксштурма. Часть женщин бежали с берега, но эсэсовцы и местные ополченцы бросились за ними в погоню. Бергау и группу его друзей-подростков из гитлерюгенда, также входивших в состав фольксштурма и носивших оружие, вызвали к заброшенной шахте, чтобы помочь СС охранять строй еврейских женщин, которых попарно уводили за угол здания. Бергау слышал выстрелы двух убивавших их эсэсовцев. Наконец очередь стала такой короткой, что пятнадцатилетний Бергау тоже зашел за угол вместе с последними женщинами. Наблюдая за казнью, он увидел, как один его товарищ из гитлерюгенда вышагивает среди распростертых тел и стреляет из револьвера в тех, кто еще двигался. Скрыться от преследователей и не погибнуть в бойне на льду удалось лишь нескольким женщинам. Одной из них была та молодая еврейка, которую спрятала Берта Пулвер [8].

Случайная встреча с дочерью Берты Пулвер побудила Мартина Бергау начать работу над мемуарами о военных годах и о собственном трехлетнем пребывании в плену в Советском Союзе. Хотя в то время в обществе Германии господствовала рефлексорная реакция отторжения – многие уверяли, что ничего не слышали и не знали ни о каких лагерях и убийствах, – Бергау скрупулезно изложил происходившее у него на глазах истребление узников концлагеря. Он направил запрос в архивы Яд Вашем в Иерусалиме и опубликовал полученные из архива показания выживших в специальном приложении к своим мемуарам. Бестселлером его книга не стала.

Мартин Бергау, единственный из упомянутых трех немецких мемуаристов, в подростковом возрасте оказался непосредственно вовлечен в кровопролитные события конца войны. Его достижение заключается в том, что он сумел зафиксировать собственную внутреннюю приверженность делу Германии, хотя он не подвергал этот вопрос более глубокому разбору. Чувство вины Лоре Вальб проистекало из осознания того факта, что она, талантливый подросток и молодая женщина, добровольно приняла заповеди и цели нацизма и оставалась верной им до конца. Чувство вины повзрослевшей Катрин Тиле подпитывалось не тем, что она сама делала во время войны (тогда она была совсем еще ребенком), а опасениями по поводу того, в чем мог быть замешан ее отец, чтобы его потом арестовали. Историки, начавшие опрашивать детей Третьего рейха в 1980-х гг., также уделяли немало внимания чувству вины, с которым пытались разобраться Катрин Тиле, Лоре Вальб и Мартин Бергау. Но их интересовал не столько личный опыт детей, сколько их реакция на то, чем занимались во время войны их отцы [9].

В любой войне дети становятся жертвами. Вторая мировая война отличалась лишь тем, до какой беспрецедентной степени это оказалось правдой. На одной из самых известных фотографий Холокоста запечатлен мальчик с поднятыми руками, которого под дулом автомата гонят на площадь Умшлагплац в Варшавском гетто. Он был лишь одним из 1,1 миллиона детей, погибших в ходе «окончательного решения еврейского вопроса». Тысячи детей были расстреляны солдатами и местными ополченцами на оккупированных территориях Польши и Советского Союза. Голод и болезни убивали стариков и младенцев повсюду в оккупированной Европе, но особенно на востоке. Дети горели вместе с матерями в огне бомбардировок Гамбурга, Дрездена, Эльберфельда, Дармштадта и множества других немецких городов, замерзали

во время массового бегства немецких мирных жителей по заснеженным дорогам Силезии и Восточной Пруссии в 1945 г.

Какая-то часть пережитых детьми страданий получила огласку, что-то так и осталось почти без внимания. Но в 1990-е гг. произошел перелом. Многие люди начинают писать мемуары только на пенсии, когда их собственные дети уже выросли. Это оказалось одинаково справедливо и для австрийских детей, которые всю войну провели рядом со своими матерями, и для еврейских детей, потерявших в Холокосте всю семью. Что касается младшего поколения детей войны, их время рассказывать свои истории наступило в последние десять лет.

В 2002 г. увидели свет три книги, вернувшие в поле немецкой общественной дискуссии вопрос о страданиях Германии во время войны. Книга Энтони Бивора «Падение Берлина», роман Гюнтера Грасса «Траектория краба», который вызвал горячий интерес своей трактовкой массового бегства немцев, и роман Йорга Фридриха *Der Brand* («Огонь»), посвященный бомбардировкам немецких городов. Эти авторы далеко не первыми обратились к указанным темам, но они смогли захватить воображение немецкой публики так, как не удавалось никому из их предшественников. В частности, говоря о страданиях Германии во время войны, Йорг Фридрих использовал такие выражения, которые ставили их в один ряд с Холокостом. Он клеймил Уинстона Черчилля как военного преступника, сравнивал тесные подвалы, в которых немцы прятались от воздушных налетов, с газовыми камерами, а бомбардировщиков Королевских ВВС Великобритании – с айнзацгруппами, как если бы они были убийцами из СС. После обширных публичных дискуссий об ответственности Германии за убийство евреев большинство комментаторов сочли такие выражения неприемлемыми и категорически отвергли любые попытки уравнивать страдания немцев и евреев. Но другие аспекты работы Фридриха, особенно общий акцент на невиновности, травме и психологии жертвы, оказались приняты более широко. И это задавало тон ряду появившихся недавно работ, в основу которых легли интервью с детьми войны. Впервые интервьюеры захотели услышать собственные истории детей, а не рассказы о деяниях их отцов, большинство из которых уже умерли. На фоне призывов «нарушить затянувшееся молчание» в поле внимания оказались наиболее тяжелые моменты войны, выпавшие на долю детей, – бомбардировки, бегство и голод. Дав голос страданиям невинных немецких детей, мы можем поставить их воспоминания в один ряд с воспоминаниями переживших Холокост и в перспективе поддержать жертв, наделив их моральным авторитетом и политическим признанием [10].

Во многих отношениях это обращение к страданиям невинных детей не так ново, как может показаться. В 1950-х гг. в Западной Германии самое широкое освещение получили темы массового бегства из восточных провинций. Хотя в Западной Германии ковровые бомбардировки британских и американских союзников быстро стали запретной темой, в Восточной Германии в период холодной войны они оставались неотъемлемой частью памятных мероприятий. Точка зрения ребенка привлекала западногерманских писателей, таких как Генрих Белль, в начале 1950-х гг. искавших символы надежды в послевоенном мире. Но, как заметил в язвительной рецензии на ранние работы Белля выживший в Варшавском гетто литературный критик Марсель Райх-Раницкий, ограниченный кругозор ребенка зачастую служит удобным оправданием, позволяя избегать более широких оценок войны на уничтожение, развернутой нацистами на Востоке [11].

В 1950-х гг., когда в Польше, Израиле и Западной Германии происходило становление нового национального самосознания, страдания невинных людей нередко ложились в основу морально возвышающего нарратива обновления. В Польше подобный взгляд на огромные потери страны во время войны и немецкой оккупации восходил к старинной традиции, уподобляющей мученичество и возрождение нации страстям Христовым. Но против этой традиции решительно боролась правящая партия, выдвигавшая на первый план собственное героическое сопротивление, одновременно принижая заслуги гораздо более крупных националистических

сил Армии крайовой. В Западной Германии рассказы об изгнанных из Восточной Европы этнических немцах и о военнопленных, голодавших в советских лагерях, иногда трактовались как своего рода протестантское искупление грехов. Многие немцы в 1950-х гг. ощущали, что перенесенные страдания позволили им уплатить свой (в целом довольно неопределенный) моральный долг. В Израиле факт геноцида стал краеугольным камнем в основании нового государства, а армия считалась важнейшим залогом его существования, и многие с горечью полагали, что европейские евреи, столкнувшись с угрозой истребления, вели себя слишком пассивно. В первые десять лет и далее памятные мероприятия в Израиле были посвящены исключительно примерам героического сопротивления, таким как восстание в Варшавском гетто. В Польше и Германии вскоре после окончания войны начали собирать и устраивать выставки детских сочинений и рисунков. В Израиле на это потребовалось больше времени – масштаб трагедии сам по себе делал ее созерцание слишком болезненным [12].

Сталкиваясь с подобными страданиями, вполне естественно пытаться осмыслить их последствия через понятие травмы. Безусловно, многие дети и взрослые были травмированы пережитым опытом. Но вместе с тем понятие травмы довольно сложно соотнести с прошлым. Травма, как и ее культурный сосед, психология жертвы, нередко рассматривается как психологический (и моральный) абсолют. Она заключает прошлое в определенные рамки, сообщая нам о том, что мы увидим, еще до того, как посмотрим на это своими глазами. Кроме того, концепция травмы предназначена для работы с переживаниями отдельного человека, а не целого общества. Когда специалисты по устной истории в рамках изучения других тем опрашивали свидетелей событий, некоторые из них, имея выраженную склонность к самонаблюдению, заметили, что их работа во многом похожа на работу психоаналитиков и психотерапевтов – но это, как правило, побуждало их еще осторожнее оценивать глубину и степень достоверности показаний их собеседников. Подобная осторожность была бы уместна и здесь [13].

Вместо этого начиная с 1960-х гг. в Федеративной Республике Германии возникла стойкая тенденция воспринимать публичные дебаты как своего рода общественную психотерапию, как будто обсуждение нацистского прошлого, Холокоста, сотрудничества со Штати в бывшей Восточной Германии или (начиная с недавнего времени) страданий немцев во время войны само по себе могло очистить и излечить общество от последствий всего перечисленного. Когда Лоре Вальб и Мартин Бергау размышляли об ответственности за нацизм и Холокост, они задавали себе очень сложные вопросы, стараясь при этом удерживать хрупкий баланс между глубинными детскими воспоминаниями и нравственными установками взрослой жизни. Вместе с тем, от свидетелей событий редко требуют излишней строгости к себе после того, как их детские переживания получают неоспоримый статус «показаний выживших». Отсюда слишком легко перейти к восприятию страдания как искупления, как это случилось в 1950-х гг., когда в обществе распространилось убеждение, будто страдание облагораживает людей, помогая им изменить себя, – сомнительное заявление, когда речь идет о столь разрушительном конфликте, как Вторая мировая война [14].

Подчеркнутая сосредоточенность на страданиях невинных иногда приводит к тому, что дети начинают выглядеть странно пассивными и в истории причиненного им вреда выступают не столько субъектами, сколько объектами. Но в действительности большинство детей во время войны сохраняли способность взаимодействовать с окружающим миром и занимали определенное место в сети социальных отношений – и если мы хотим выяснить, чего хотели сами дети и как они реагировали на происходящее, нам следует искать именно здесь. С исторической точки зрения употребление термина «травма» лучше ограничить лишь крайними случаями, не имеющими никакого иного объяснения – как, например, в истории маленькой немецкой девочки, которая могла думать только о том, как спасти туфельки из-под обломков своего дома, или пятилетней польской девочки, которую после освобождения из концлагеря пришлось заново учить разговаривать [15].

Дети выстраивали собственную хронологию войны по ключевым моментам, когда война стала реальной лично для них. Крушение безопасного мира становилось точкой невозврата, отделяющей войну от предшествующего золотого века. Для еврейских детей в Германии, Австрии и Чехии такой момент почти наверняка наступил еще до начала войны, нередко вместе с эмиграцией, особенно если ей сопутствовало разлучение семьи. Для поляков это происходило в 1939–1940 гг., ознаменовавшихся массовыми расстрелами, депортациями и (для польских евреев) помещением в гетто. Для немецких детей в городах Рейнской области и Рура таким моментом стало начало массированных бомбардировок в 1942 г. Для детей из восточногерманских провинций это было, как правило, общее бегство в 1945 г. Для многих других немецких и австрийских детей не тронутый войной безопасный мир рухнул только с оккупацией и падением Третьего рейха: на их внутренней шкале отсчет начался с капитуляции 8 мая 1945 г. и продолжился в последующие голодные годы.

Поскольку детские воспоминания о нацистской Германии разнятся – для одних это было нормальное, ничем не примечательное время, а для других его наполняли страх и ужас, – большое значение имеют конкретные даты и события, фигурирующие в воспоминаниях. Именно они отмечали эту эмоциональную границу. Нередко дети преодолевали эту границу тогда, когда им приходилось брать на себя обязанности взрослых, заботиться о своих братьях и сестрах или родителях, заниматься попрошайничеством или контрабандой, чтобы прокормить семью. Рано или поздно – когда их родители угасали от голода в еврейских гетто, бежали от Красной армии в снегах 1945 г. или прятались в подвалах во время авианалетов, – в жизни многих детей наступал момент, вынуждавший их взять на себя не соответствующие возрасту обязательства. И чувство ответственности за близких продолжало крепко связывать их с ними (особенно с матерями) даже тогда, когда при нормальном развитии событий они уже давно начали бы самостоятельную жизнь [16].

Большинство детей проживали события войны не в изоляции, и их воспоминания об этих ключевых событиях (особенно у детей младшего возраста) формировались под влиянием тех историй, которые им рассказывали позднее. Впрочем, еврейских детей это в большинстве случаев не касалось: те, кому удалось пережить войну, как правило, теряли всех близких, и многие эмигрировали из стран континентальной Европы, отправляясь познавать себя среди незнакомых языков и традиций. Что касается европейских детей и их родных, для них восстановление после войны обычно становилось национальным и семейным делом, а их воспоминания и способность к сопереживанию развивались исключительно в рамках собственных национальных и этнических сообществ, существовавших во время войны; при этом в Европе не существовало единого мнения о том, какое значение имеет 1939, 1940, 1941 или 1945 г. и что считать победой, поражением или освобождением. О глубине влияния Третьего рейха можно судить по тому, что после уничтожения внешних символов и структур режима образ мыслей людей еще долго оставался неизменным.

Цели нацистов были прежде всего расистскими и националистическими, и они проецировали эти цели в будущее, придавая огромное значение всему, связанному с детством. Дети служили важнейшим мерилom успеха в реализации нацистских утопических видений. В чистокровном, хорошо образованном, «правильном» немецком ребенке нацисты видели расовое будущее нации. Они прекрасно понимали, что это первое поколение, которое они могут направлять и воспитывать начиная с раннего детства. Поэтому во время войны был принят целый ряд мер заботы о детях: десятилетних детей записывали в младшие отделения гитлерюгенда и Союза немецких девушек (юнгфольк и юнгмёдельбунд), где их отправляли собирать лекарственные растения, для детей выделяли отдельные места в эвакуационных общежитиях, им выдавали специальные пищевые добавки. В целом режим всеми силами пытался сделать жизнь в тылу как можно более «нормальной».

Воспитание немецкой молодежи подразумевало ее защиту от пагубных влияний. Немецких детей, исключенных из школы, и несовершеннолетних правонарушителей изымали из общества для перевоспитания до тех пор, пока они не научатся ставить превыше всего долг и усердный труд. Детей-инвалидов просто устранили – начиная с лета 1939 г. медикам, по распоряжению Гитлера, предписывалось убивать их в психиатрических лечебницах страны. После того как будущее германской расы стало единственным мерилom ценности и полезности, нацисты отбросили все прочие этические критерии в работе с детьми.

Военные кампании на Востоке, сначала в Польше в 1939 г., а затем, с 1941 г., в Советском Союзе, открыли перед немцами перспективу колониальных поселений, которые, согласно изначальному замыслу, должны были стать такими же постоянными, как поселения белых людей в Америке, Австралии или в Южной Африке. Даже если молодежи больше нравилось читать экзотические романы о колониальной Африке, подростки из Союза немецких девушек, гитлерюгенда, Лиги студентов и Имперской службы труда охотно помогали полиции и СС сгонять с земли польских крестьян, чтобы заселить освободившееся место этническими немцами. Школьники, отправленные в эвакуацию в недавно захваченные области Западной Польши, Чехии и Моравии, устраивали в польских и чешских городах торжественные марши в дни своих национальных праздников, тем самым символически утверждая немецкое присутствие в этих местах. И горе тем местным жителям, которые не спешили обнажить голову перед знаменами юнгфолька или гитлерюгенда, когда они маршировали мимо, распевая *Deutschland, Deutschland über alles*.

Для польских и польско-еврейских детей колонизация разрушила всю правовую структуру общества, заменив ее произволом местных уполномоченных. На глазах у детей унижали старших, а их самих заставляли зимой убирать снег, а летом ремонтировать дороги. На смену школьному обучению пришла система нормирования и расовой сегрегации. Пропась между евреями и неевреями становилась все глубже, но по обе стороны этой пропасти дети одинаково воровали еду и занимались спекуляцией, а сети, созданные еврейскими детьми-контрабандистами в Варшаве и других городах, становились для некоторых редким шансом на спасение. К тому времени, когда Мартин Бергау стал свидетелем массового убийства еврейских женщин в Пальмникене в январе 1945 г., даже немецкие дети в сельских захолустьях Восточной Пруссии уже познакомились с крайностями нацистского расового насилия.

В конце концов режим начал поглощать даже тех детей, которых изначально стремился защитить от расовой нечистоты и воздушных налетов. На последнем этапе войны нацистский режим призывал немецких подростков принести себя в жертву на «алтарь отечества», отправляя девочек-подростков в зенитные батареи, а мальчиков – сражаться с советскими танками. В самоубийственной кульминации нацистского культа готического романтизма режим, обращаясь к остаткам выпестованного им юношеского идеализма, посылал молодых людей на смерть. В их осознанном уничтожении скрывались семена послевоенного мифа о том, что немецкий народ стал жертвой нацистов. Но, как свидетельствует дневник Лоре Вальб, увлечение героическими обреченными жемами простиралось далеко за пределы бункера фюрера в Берлине. Когда связующие звенья государства лопнули, уничтожение молодежи не могло продолжаться без молчаливого согласия и пособничества многих людей, в том числе зачастую их собственных близких.

Как произошла эта трансформация? Каким образом достаточно большое количество немцев пришло к выводу, что национальная борьба стоит жизни их детей-подростков? Ответ может заключаться в том, что на самом деле они так не думали, а нацистский режим в преддверии своего горького конца держался только за счет террора. Эта версия представляется довольно правдоподобной, так как из 16 000 судебных казней, проведенных за все время существования нацистской Германии, более 14 000 пришлось на период после 1941 г. Однако их жертвами были в основном не немцы, а поляки и чехи. Что касается расстрелянных немцев,

среди них преобладали мелкие преступники, пойманные на мародерстве после авианалетов, а не политические противники или распространители пораженческих слухов. С самого начала войны немецкая военная дисциплина была гораздо строже, чем у западных держав или даже в самой Германии во время Первой мировой. За время войны было казнено около 33 000 немецких солдат, большинство из них за дезертирство, и, вероятно, половина из этого числа – в последние 12–18 месяцев войны. Террор, направленный против немецких солдат и гражданского населения, приобрел особенно ожесточенный характер в последние месяцы войны, когда режим и армия вели бои уже на территории Германии, теряя один регион за другим. Но не только террор заставлял немцев драться: даже на заключительном этапе войны взрослые солдаты и подростки нередко продолжали действовать небольшими отрядами, хотя никто, кроме собственных офицеров и товарищей по оружию, не мог помешать им уйти. За последние четыре месяца войны погибло более миллиона немецких солдат. Третий рейх продолжал стоять до тех пор, пока не потерпел военное поражение [17].

Предсказать подобную кульминацию событий по реакции немцев на первые годы войны было невозможно. Легкие победы в 1939 и 1940 гг. над Польшей, Данией, Норвегией, Нидерландами, Францией, Бельгией и Люксембургом вызвали ликование и одновременно принесли чувство облегчения – война оказалась короче и обходилась гораздо меньшими жертвами, чем опасались люди. Но бомбардировки союзников и бои на Восточном фронте полностью изменили дело, к концу 1942 г. подвергнув немецкое общество тягостной и страшной проверке на выносливость. На севере и западе от массированных авианалетов страдали все населенные пункты, расположенные вдоль линий полета. Вой сирен воздушной тревоги нередко заставлял семьи по несколько раз за ночь спускаться в тесные подвалы без окон, чтобы переждать очередной авиаудар. Немецкие города горели и превращались в руины, число погибших военных и мирных жителей росло, и многим взрослым и подросткам казалось, что непримиримый враг действительно ведет против немецкого народа войну на уничтожение. Апокалиптический тон, всегда свойственный речам Гитлера, в те дни как никогда соответствовал обстоятельствам «тотальной войны». Пока подростки и молодые люди, такие как Лоре Вальб, писали в личных дневниках о непоколебимой вере и верности, многие люди старшего возраста испытывали чувство беспомощности, понимая, что их судьба неразрывно связана с судьбой нации. Но даже те, кто с неодобрением отнесся к еврейскому погрому в ноябре 1938 г., были готовы вслед за немецкими СМИ обвинять в бомбардировках влиятельные еврейские круги в Вашингтоне и Лондоне. И они понимали, что «тотальная война» потребует жертв. Уже в феврале 1943 г. родители соглашались отправить своих пятнадцатилетних сыновей служить в зенитные батареи на побережье Северного моря или в такие города, как Эссен, Берлин и Гамбург. Многие погибли в боях еще до того, как нацисты развернули террор в немецком тылу.

Нацистское «народное единство» [фольксгемайншафт] раздирали реальные и риторические противоречия. Режим беспрекословно требовал крови и военных жертв, но при этом проявлял необычайную неуверенность, когда дело касалось настроений гражданского населения. Отчаянно стараясь избежать коллапса тыла, подобного случившемуся в 1918 г., гитлеровский режим изо всех сил пытался поддерживать своего рода псевдонормальность – так, в Германии в военное время сохранялись самые большие в Европе продовольственные пайки. «Тяжелые жертвы», от которых были избавлены в тылу немецкие граждане, приносили в основном подневольные рабочие и военнопленные с Востока. На многих фотографиях, сделанных в разрушенных бомбами городах, немецкие мужчины в униформе охраняют лагерных заключенных и подневольных рабочих, разбирающих завалы после воздушных налетов. Чем дольше и тяжелее шла война, тем чаще становились случаи публичных казней иностранных рабочих, и если сначала этим занимались службы охраны порядка, то в последние недели войны – линчеватели. Расизму нацистов был нужен страх людей перед поражением и «террористическими бомбардировками», чтобы склонить их к своим манихейским воззрениям, требующим убить или быть

убитым. Через повседневное соприкосновение с нацистским расовым насилием в обществе, борющемся за выживание, те части немецкого тыла, которые были наименее нацистскими в 1930-х гг., – промышленные города севера, Рур и Саксония, – постепенно впитали в себя ценности, изначально составлявшие основу гитлеровской концепции расового завоевания [18].

Когда война явилась на порог их родного дома, многие дети восприняли ее как череду беспрецедентных физических явлений, одновременно впечатляющих и пугающих. Детское чувство опасности отличается от взрослого, поэтому маленьких детей нередко восхищал вид пожаров, полыхающих в их родных городах, и даже мальчишки-подростки, шагая в школу на следующее утро после налета, соревновались, кто соберет больше осколков снарядов. Кроме того, дети разного возраста совершенно по-разному осмысливали увиденное. Если в памяти маленьких детей обычно оставались яркие, но фрагментарные образы, то дети постарше стремились сформировать абстрактные представления о происходящем. Из радиопередач, занятий в гитлерюгенде, разговоров с родителями и учителями они выводили мораль своего национального бедствия. Нередко дети наравне со взрослыми помогали тушить пожары или организовывать бесплатные столовые для беженцев из разрушенных бомбами городов. Часто говорят о том, что нацисты мешали подросткам развивать чувство ответственности, снабжая их готовым набором авторитарных заповедей. Но с тем же успехом можно сказать, что нацисты прививали детям чрезмерное чувство нравственного долга и ответственности за собственный вклад в военные успехи, что в конечном итоге вылилось в готовность подростков жертвовать своей и чужой жизнью в последние месяцы войны [19].

Я впервые услышал о нацистах в детстве – мой брат с детской прозорливостью назвал их *nasties* – «гады». Мой отец родился в Берлине, в семье ассимилированных евреев-социалистов. Город, из которого он эмигрировал в 1939 г., остался его самой большой любовью. Мы часто расспрашивали отца о его детстве, которое пришлось на конец 1920-х – начало 1930-х гг. Его политические воспоминания начинались с того случая, когда он спрятался в книжном шкафу своего деда и слушал, как сидевшие в комнате взрослые (среди которых были ведущие деятели социал-демократической партии) обсуждают, как реагировать на переворот фон Папена в Пруссии в 1932 г. и как защитить Республику. Когда Гитлер пришел к власти, мой отец был на пороге подросткового возраста. Однажды он получил строгий выговор за то, что, не подумав, насвистывал «Марсельезу», когда поднимался по лестнице, чтобы повидать двоюродного брата, присоединившегося к группе левого Сопротивления. Как многие беженцы и изгнанники, он со временем почти не изменил своих нравственных и интеллектуальных взглядов. Всю оставшуюся жизнь он придерживался левых идей и отождествлял себя с «другой Германией», которая не голосовала за нацистов в 1933 г., – с той, которая была заново открыта благодаря неустанным трудам социальных историков начиная с 1970-х гг. [20]

Мы с братом любили шутить, что, если бы не Гитлер, мы бы никогда не родились, потому что наши родители не встретились бы в Австралии в 1950-х гг. Мы также понимали, что у нашего отца было крайне мало шансов выжить при Гитлере. Но только когда я прочитал статистический анализ военных потерь Германии, я понял, что значило «выжить при Гитлере» для нееврейских мужчин того поколения. Из поколения его сверстников, родившихся в 1920 г., 40 % погибли на войне, половина из них – в 1944 и 1945 гг. Худшим годом, чтобы родиться в Германии в XX в., был 1920 г. Эта книга начинается уже после того, как мой отец покинул Германию, и после того, как его самый близкий друг-нееврей, оставшийся в Германии, – тот самый, с которым они вместе отмечали красными чернилами все грамматические ошибки в первом издании гитлеровской «Майн кампф», – пошел служить в немецкую армию. Он погиб, подорвавшись на mine, в начале 1945 г. Однако героями этой книги станет не их поколение.

Мне не дают покоя те чувства, которые пробудили во мне рассказы отца: стремление к историческому сочувствию и пониманию. Я обнаружил, что чем меньше я сочувствую некото-

рым из моих героев, тем более утомительным становится мой поиск. Но вместе с тем он ощущается более ценным. Легко отождествлять себя с благородными жертвами, но трудно постичь образ мыслей ребенка, занимающегося спекуляцией на черном рынке, или девушки, воображающей, будто она готова положить свою жизнь и жизнь своего брата на «алтарь отечества». Еще труднее представить, о чем думал пятнадцатилетний юноша, охраняя строй женщин, ожидающих расстрела.

Пытаясь понять, каково было быть ребенком под властью Германии во время Второй мировой войны, я почувствовал необходимость сопоставить воспоминания взрослых о своем детстве с источниками того времени. Как иначе мы сможем узнать, что сохранилось в памяти, а что было забыто? Как узнать, какое значение дети придавали событиям того времени и к какому образу мыслей их побуждали окружающие взрослые? Последние десять лет я разыскивал детские школьные эссе, дневники несовершеннолетних, письма из эвакуационных лагерей, письма отцам на фронт, письма из исправительных заведений и психиатрических лечебниц, детские рисунки из еврейского гетто Терезиенштадта и немецких деревень Шварцвальда, а также рассказы взрослых о детских играх. Подобные источники всегда фрагментарны. Они ярко освещают одни аспекты детской жизни и оставляют в тени другие. Вместе с тем они особенно драгоценны, потому что переживания и эмоции заключены в них в своем первозданном виде, а не так, как о них вспоминали позднее.

Литераторы могут «знать» о своих героях то, чего не могут знать историки. Там, где литератор уверенно опирается на эмоциональную логику поступков своих персонажей, историк должен помнить о том, что реальная жизнь его протагонистов открыта для любых неожиданных поворотов. В конце концов, писателям не нужно проверять точность интуиции, сопоставляя свою версию событий с множеством обрывочных источников. Эти ограничения придают историческому пониманию иное качество, и я постоянно получаю напоминания о том, что свидетели существуют не только для того, чтобы иллюстрировать излюбленные аргументы историков, но и для того, чтобы заставить нас заново усомниться в том, что, как нам кажется, мы хорошо знаем. Это важно, потому что в противном случае мы не сможем собрать в верную форму осколки общества, разрушенного опытом войны и Холокоста.

В основном это разрушение было преднамеренным: нацисты разыгрывали в реальной жизни утопическое видение немецкой колонизации, в которой детей ждало спасение или гибель в соответствии с их расовой ценностью. Но реконструировать то, что происходило с детьми, не говоря уже о том, что они пережили, – сложная и деликатная задача. Она подразумевает нарушение научного табу. По вполне оправданным причинам, из сочувствия и жажды моральной справедливости историки Холокоста обычно сосредоточивают внимание исключительно на жертвах или только на преступниках. Но, как пришли к выводу историки нацизма, Холокост пронизывал немецкое общество даже в то время, когда оставался почти невидимым для таких людей, как Лоре Вальб. Мы не сможем осознать масштабы перемен, которые война принесла колонизаторам и колонизированным, если не поместим их жизни и их точки зрения в одни и те же рамки. Дети особенно подходят для изучения этого вопроса именно потому, что Третий рейх так сильно повлиял на их жизнь. Их способность воспринимать исключительное как нормальное показывает, насколько глубоко нацизм проник в общество, разделив его сначала на тех, кому суждено было править, и тех, кто был обязан служить, а затем на тех, кто должен был жить, и тех, кому предстояло умереть. Опыт детей заслуживает того, чтобы его изучали независимо от расовых и национальных различий не из-за сходства этого опыта, а из-за того, что его контрасты помогают нам лучше увидеть картину нацистского общественного строя. Дети не были просто немymi травмированными свидетелями этой войны или ее невинными жертвами. Они тоже жили, играли и влюблялись во время войны. Война вторгалась в их воображение и бушевала у них внутри.

Часть I. Домашний фронт

1. Немцы на войне

Утром 1 сентября 1939 г. Янина вышла из уборной в дальнем конце сада, принадлежавшего ее бабушке и дедушке, и увидела два кружащих над головой самолета. На звук пулеметных очередей из дома выбежали родители, бабушка с дедушкой и братья. Потом все они снова бросились в дом, чтобы послушать радио. Они успели услышать объявление о том, что на рассвете Германия напала на Польшу, потом батареи разрядились, и голос диктора смолк. «Дедушка повернул переключатель и обвел взглядом наши полные ужаса лица, – записала десятилетняя Янина в дневнике в конце того долгого дня. – Потом он встал на колени перед образом Иисуса Христа и начал громко молиться». Вся семья повторяла «Отче наш» вслед за ним. Янина проводила летние каникулы у бабушки и дедушки в маленькой деревеньке Борова-Гора и со дня на день должна была вернуться с родителями в Варшаву – школьные занятия начинались 4 сентября, и она с радостью предвкушала, как ей купят обещанный комплект новых учебников. Десятилетняя девочка поняла: произошло нечто важное, но у нее еще не было отчетливого представления о том, что такое война. Даже те взрослые, которые пережили в Польше Первую мировую войну, не могли себе представить, какой окажется Вторая мировая [1].

В том сентябре начало нового осеннего семестра сорвалось во многих странах Европы. В Германии школы оставались закрытыми даже после окончания летних каникул – в них открыли временные мобилизационные центры, и дети крутились у ворот, стараясь хоть краешком глаза взглянуть на резервистов, прибывавших на регистрацию. В тихом сельском Эйфеле к западу от Рейна все друзья завидовали двум девочкам, которым разрешили стоять на деревенской площади с мешком яблок и бросать яблоки проходящим мимо солдатам. Увы, для многих детей постарше, таких как шестнадцатилетняя Гретель Бехтольд, ажиотаж вскоре угас: французы не сделали на линии Зигфрида ни единого выстрела, и ей вскоре пришлось вернуться в школу [2].

После того как в городах Германии по ночам начали отключать уличные фонари и затемнять окна, в них воцарилась тьма, какой не бывало с доиндустриальной эпохи. В Эссене маленькие девочки играли в ночных сторожей, обходявших улицы и напоминавших людям, чтобы они погасили свет, криком: «Затемнение! Затемнение!» Но слишком скоро занятия начались снова. Дети бежали в школу, и на плечах рядом с ранцами у них болтались противогазы, а на дом им задавали написать о затемнении и других мерах гражданской противовоздушной обороны. На неосвещенных улицах сталкивались трамваи и грузовики, пешеходы падали с тротуаров – спустя четыре месяца после начала войны одного мальчика из Гамбурга больше всего поражало то, насколько в городе стало больше дорожных аварий [3].

В сентябре 1939 г. в Германии никто не ликовал так, как это было в августе 1914 г., каким бы мимолетным ни был тогда на самом деле этот общественный экстаз. Даже горячо поддерживавшие нацистов семьи не вполне понимали, как относиться к началу войны. Четырнадцатилетняя Лизе из Тюрингии в Центральной Германии, слушая по радио речь фюрера в рейхстаге, визжала от удовольствия. Но уже через две недели после начала войны она спрашивала отца, каковы, на его взгляд, их шансы довести дело до скорейшего завершения:

Если мы вступим в настоящую войну с Англией, не кажется ли тебе, что она продлится не меньше двух лет? Потому что англичанин, начав войну, вкладывает в нее все силы и средства и мобилизует всю свою империю, и англичанин пока еще ни разу не проигрывал войны [4].

Ее отец, офицер запаса, решительно поддерживавший режим, согласился с ней. Как и следовало ожидать от человека, имевшего опыт ужасных кровопролитных сражений Первой мировой войны, он сказал ей, что решающую роль снова будет играть Франция. Тем временем мать Лизе купила хороший радиоприемник *Telefunken-Super*, и они повесили рядом с ним карту Польши, чтобы после каждого выпуска новостей отмечать продвижение немецких войск с помощью маленьких флажков со свастикой, так же, как делали во всех школах Рейха [5].

С началом немецкого наступления на рассвете 1 сентября вермахт обнаружил, что польская армия находится в разгаре мобилизации. Обладая преимуществом внезапности, люфтваффе уничтожило на земле значительную часть из 400 самолетов польских ВВС, в большинстве своем устаревших, и немедленно захватили господство в воздухе. Затем 2000 самолетов люфтваффе принялись отрабатывать новую военную тактику, поддерживая немецкую армию на поле боя, – 60 хорошо вооруженных немецких дивизий перешли границы Восточной Пруссии на севере, Словакии и недавно оккупированных чешских земель на юге и развернули широкий фронт на западе от Силезии до Померании. Защищать такие границы было невозможно, и 6 сентября польское верховное командование отказалось от этих попыток. Даже для того, чтобы удержать хотя бы крупные промышленные и городские центры, полякам пришлось бы чрезмерно рассредоточить свои 40 плохо оснащенных дивизий и 150 танков. Вермахт же мог выбрать поле боя по своему усмотрению и направить туда свои 2600 танков [6].

Тем временем немцы стекались в кинотеатры, привлеченные не столько художественными фильмами, сколько военной кинохроникой «Немецкого еженедельного обозрения» (*Wochenschau*), которую показывали в начале каждого сеанса. Их ждало ошеломляющее, головокружительное новое зрелище: аэрофотосъемку впервые опробовали еще во время Первой мировой войны, но теперь она дала зрителям возможность почувствовать, как будто это они сами устремляются вниз в яростном пике со скоростью более 150 м/с. В кои-то веки полицейские отчеты показывали, что аудитория полностью удовлетворена: немцы наблюдали за польской кампанией глазами пилотов немецких пикирующих бомбардировщиков. Маленькие дети в Эссене выстраивались в очередь, чтобы спрыгнуть с курятника, крича: «Штукас!» и подражая пронзительному реву бомбардировщиков. В конце сентября 1939 г. хорошо осведомленный американский журналист Уильям Ширер не смог найти в Берлине «даже среди тех, кто недолго любил режим, никого, кто видел бы что-то плохое в уничтожении Германией Польши» [7].

Марион Любен из Эссена, как и многие другие немецкие подростки, вела военный дневник. 3 сентября она сделала запись о взятии Ченстохау (Ченстохова), 6 сентября написала, что «промышленный район Верхней Силезии практически не пострадал от рук немцев», а 9 сентября ее сводка гласила: «Занята Лодзь. Фюрер в Лодзи». В своих записях эта четырнадцатилетняя девочка подражала отрывистому напыщенному языку бюллетеней вермахта, адресованных тылу. Как большинство жителей страны, Марион, должно быть, неотлучно сидела у радио, завороченно смотрела первые кадры кинохроники и некоторое время упивалась ощущением победоносной силы – но сама война происходила где-то далеко и не вызвала никаких особых эмоций. Только в октябре 1940 г., когда рядом с ее домом упали первые бомбы, в своей военной хронике она стала говорить от первого лица [8].

5 октября 1939 г. Варшава сдалась, и боевые действия закончились. Но уже к середине октября в Германии почти перестали обсуждать Польшу, и действующему под прикрытием корреспонденту немецких социал-демократов «не удалось найти ни одного человека, который еще говорил бы о “победе”». Некоторые надеялись, что ныне, когда спор о Польше урегулирован путем расчленения страны, можно восстановить мирные отношения с западными державами. Гитлер подыграл этим настроениям в обращении к рейхстагу 6 октября. Снова подчеркнув, что у него нет территориальных претензий к Англии и Франции, фюрер дал понять, что с распадом Польши исчез и *casus belli* (повод к войне). Немецкая публика приняла этот

посыл намного ближе к сердцу, чем французская или британская. Когда Даладье и Чемберлен отвергли протянутую Гитлером оливковую ветвь, многие немецкие граждане вслед за Лизе и ее отцом решили, что примирению помешала главным образом неуступчивость британцев. В середине октября дети распевали на улицах комические частушки о Чемберлене и кривлялись, подражая его знаменитой манере ходить с зонтиком [9].

Хотя режим упорно настаивал, что конфликт начался не с нападения Германии на Польшу, а с объявления войны Британией и Францией 3 сентября и что немецкое правительство всеми силами старалось его прекратить, было совершенно ясно: внутри страны война пока еще не пользовалась большой популярностью. Даже некоторые военачальники открыто предупреждали Гитлера, что Германия не может рассчитывать на победу над Францией и Британией. Внешнеполитические успехи Гитлера в три предвоенных года во многом изменили общественное мнение, но не избавили людей от глубоко укоренившегося страха перед войной. Когда в 1936 г. немецкие войска перешли Рейн, в рабочих районах, ранее известных антинацистскими настроениями, впервые вывесили флаги со свастикой. Мало кто возражал против отмены условий, которые союзники наложили на Германию и Австрию после их поражения в 1918 г. Такие достижения Гитлера, как отмена бисмарковского «малогерманского» объединения 1871 г. и возвращение Австрии в «Великогерманский рейх», одобряли даже социал-демократы Германии и Австрии. В конце концов, они сами пытались добиться того же в конце Первой мировой войны, но им помешали союзники. Чем бы ни руководствовались немцы – исповедовали они пангерманское кредо возвращения всех немцев «на Родину» в Рейх или считали возможным восстановление территорий Пруссии и Австрии в границах XVIII–XIX вв. за счет восточноевропейских государств-правопреемников, или просто поддерживали нацистскую концепцию колонизации нового «жизненного пространства», – в 1938–1939 гг. немногие из них принципиально возражали против претензий Гитлера на Чехословакию и Польшу. Успех породил новые амбиции и вызвал общий рост самодовольства среди населения [10].

Но кризис в Чехии длился достаточно долго (с мая по октябрь 1938 г.), показав, насколько немецкий народ на самом деле опасался нового конфликта масштабов Первой мировой войны. В разгар кризиса, 27 сентября 1938 г., власти устроили в Берлине грандиозный военный парад, чтобы продемонстрировать миру мощь Германии. Однако на параде не было толп зрителей, а случайные прохожие буквально ныряли в подъезды, чтобы избежать этого зрелища. Через три дня, когда было подписано Мюнхенское соглашение, Гитлер в приватной обстановке бушевал, что его «обманули» с этой войной, но почти все остальные испытывали глубокое облегчение. Чтобы направить общественное мнение в нужное русло, Геббельсу пришлось дать немецкой прессе четкие указания, потребовав напомнить населению об «имеющих всемирно-историческое значение» мюнхенских достижениях.

То, чего немцы боялись в сентябре 1938 г., произошло в сентябре 1939 г. 1 сентября Гитлер выступал перед рейхстагом. Отряды штурмовиков выстроились по обе стороны его маршрута от рейхсканцелярии до Оперного театра Кролла, но толпы горожан старались держаться подальше. Та же картина наблюдалась в других крупных городах. Улицы оставались пустыми и безлюдными. Период мирных чудес фюрера резко закончился. На работе, в школе и дома немцы предпочитали собираться вокруг радиоприемника [11].

Память о кровопролитиях и хроническом дефиците Первой мировой войны пронизывала национальное сознание, и люди из всех слоев общества, как иронично заметил один социал-демократ в тайно составленном обзоре общественного мнения, «говорили о продовольствии гораздо больше, чем о политике. Каждый человек всецело поглощен тем, как получить свой паек и можно ли получить еще что-нибудь сверх того». Всего через несколько недель после введения системы карточек воскресные поезда переполнились людьми, уезжавшими из городов, чтобы запастись продуктами в сельской местности. Подростки даже не удосуживались перед отъездом сменить униформу гитлерюгенда на повседневную одежду. В Кёльне распевали

веселые песенки, высмеивая неспособность местного гауляйтера Йозефа Гроэ подать горожанам пример скромной жизни. Жители многоквартирных домов, которым удалось накопить запасы мыла, одежды или (самое лучшее) обуви, начали опасаться, что соседи донесут на них в полицию. Люди, до этого дважды терявшие все свои сбережения, боялись инфляции военного времени и спешили превратить наличные в то, что позднее можно было использовать для обмена. Все не подлежащие распределению по карточкам предметы роскоши, такие как меха, оказались быстро распроданы. К октябрю 1939 г. окрепло убеждение, что страна не сможет продержаться так долго, как в предыдущей войне, «потому что есть уже нечего». Только солдаты, согласно общему мнению, получали достаточно [12].

Ворчания и опасений недостаточно для революции, однако гестапо не собиралось рисковать и быстро арестовало всех бывших депутатов рейхстага от левых. Социалистам, последние шесть лет надеявшимся, что война приведет к свержению нацистской диктатуры, в конце октября 1939 г. пришлось признать, что для этого потребуется гораздо больше, чем дефицит некоторых продуктов: «Только если настанет голод, и они начнут нервничать, и прежде всего если западным державам удастся добиться успехов на Западе и оккупировать значительную часть территории Германии, наступит подходящее время для революции». Но такие условия возникли только в начале 1945 г., а к тому времени произошло много других событий, в свете которых революция в Германии стала крайне маловероятным исходом войны. По крайней мере, в этом отношении желание Гитлера сбылось – «второй 1918 г.» так и не наступил [13].

Пока же правительство делало все возможное, чтобы убедить население в том, что с началом войны в их жизни почти ничего не изменилось. Газеты пестрели первыми яркими фотографиями из охваченной войной Британии, запечатлевшими длинные очереди лондонских детей, отправляющихся в эвакуацию с чемоданчиками, противогазами и картонными бирками на шеях, однако в самой Германии никакой массовой эвакуации детей из городов не проводили. Герман Геринг был настолько уверен в силах созданного им люфтваффе, что шутил: если хотя бы на один немецкий город упадут бомбы, пусть люди называют его Мейером¹. По-прежнему надеясь договориться с Британией о мирном урегулировании, Гитлер подчеркнуто оставил за собой право распорядиться о начале того, что он сам называл «устрашающими бомбардировками» гражданского населения [14].

Осознавая превосходство люфтваффе, британское правительство было не готово наносить воздушные удары по немецким гражданским или промышленным объектам, опасаясь навлечь на себя месть Германии. Поэтому, несмотря на все сведения о немецких бомбардировках польских городов, в первую зиму войны Королевские ВВС в основном ограничивались тем, что разбрасывали над Германией миллионы листовок, в которых объясняли причины войны в надежде завоевать сердца и мысли немцев. Одну такую листовку подняла в Эссене Карола Рейсснер, и ее недоумение быстро сменилось возмущением. «Они явно пытаются посеять недовольство среди населения, – писала она родственникам и многозначительно добавляла: – Очевидно, это еврейские уловки». Эта мысль пришла ей в голову совершенно естественно, ведь она много лет слышала, как евреи манипуляциями и обманом прокладывают себе путь к власти и влиянию в Германии. В шквале публикаций, среди которых была красочная фотоколлекция *Die verlorene Insel* («Обреченный остров»), немецкая пропаганда распространила этот образ на Британию, разоблачая еврейского торгаша, свежее испеченного аристократа из городских финансовых кругов, в качестве подлинного врага, деловито заводящего скрипучий часо-

¹ Точное значение шутки остается спорным. Одни видят в ней отсылку к еврейскому имени Меир, другие указывают на распространенность имени Мейер (Майер) среди самих немцев. В первом случае шутка имеет отчетливо антисемитский характер, во втором выглядит как отказ от своей фамилии («тогда я не Геринг»). – *Примеч. ред.*

вой механизм английской классовой системы и эксплуатирующего «кровных братьев» немцев на другом берегу Северного моря [15].

9 ноября 1939 г. по Германии распространилась новость о том, что накануне вечером на фюрера совершили покушение. В 21:20 в мюнхенской пивной, где «старые бойцы» нацистского движения собрались отпраздновать очередную годовщину «Пивного путча» 1923 г., взорвалась бомба. Всего за 10 минут до этого Гитлер отбыл, чтобы успеть на поезд обратно в Берлин, но в результате взрыва бомбы восемь человек погибли и 64 получили ранения. Во многих местах на предприятиях созвали специальные собрания, в школах собрали детей, чтобы поблагодарить за чудесное избавление фюрера и спеть лютеранский гимн *Nun danket alle Gott* («Теперь благодарим все Бога»), сочиненный в честь окончания Тридцатилетней войны [16].

Застигнутые врасплох, потрясенные и разгневанные, даже представители религиозных и рабочих кругов, у которых были свои причины ненавидеть нацистов, сплотились вокруг властей. Люди ожесточенно поносили тех, кого считали ответственными за нападение – «англичан и евреев», – и ожидали возмездия для тех и других. Всего за год до этого, на таком же собрании старых нацистов в пивной Геббельс призвал к общенациональному еврейскому погрому, обвинив всех евреев разом в убийстве сотрудника немецкого консульства в Париже, которое совершил один польский еврей. В «Хрустальную ночь» более 90 евреев были убиты на месте, 25 000 отправлены в концентрационные лагеря, где сотни из них погибли. Но теперь, после того как заговорщики замыслили убить самого фюрера, ничего не произошло. На нидерландской границе арестовали двух британских агентов, но газеты ограничились тем, что направили обвиняющий перст в сторону Британии. Нового еврейского погрома в ноябре 1939 г. не случилось. Если в прошлом году в городах с крупными еврейскими общинами, таких как Франкфурт или Берлин, общественность была потрясена бессмысленным насилием и разрушениями, то теперь на евреев никто физически не нападал. Вместо этого соседи начали тихо травить их в своих кварталах – немецкая нация, постепенно консолидировавшаяся в ожидании войны, отторгала от себя евреев [17].

В 1939 г. из Германии эмигрировали 82 % еврейских детей младше 16 лет. Даже консервативные и националистически настроенные немецкие евреи после ноябрьского погрома 1938 г. и последовавшей за ним экспроприации еврейских предприятий осознали, что их независимое существование в Германии невозможно. Если до этого Нюрнбергские расовые законы позволяли некоторым религиозным евреям считать, что к их культурной самобытности будут относиться с уважением, то теперь эта иллюзия развеялась. В ходе спасательной операции «Киндертранспорт» 10 000 несовершеннолетних еврейских детей были доставлены из Германии, Австрии и Чехословакии в Великобританию [18].

В 16:00 2 сентября 1939 г. Клаус Лангер покинул Эссен с большим чемоданом и рюкзаком. Тем утром пришла телеграмма от организации «Помощь еврейской молодежи», в которой говорилось, что он должен приехать в Берлин и быть готовым на следующий день отправиться в Данию. Его родителям, которые отказались от планов эмигрировать всем вместе, пришлось поспешно проститься со своим единственным сыном. Как отметил в дневнике пятнадцатилетний Клаус, расставание было «коротким и трудным». Он понятия не имел, когда снова увидит своих родителей, и мрачно размышлял, что «быть евреем на войне в Германии – значит быть готовым к худшему». Короткий переход на пароме через Балтийское море из Варнемюнде в Гедсер на следующий день прошел отлично. Позднее Клаус узнал, что это было последнее вышедшее в море судно с немецкими пассажирами, поскольку через несколько часов Великобритания и Франция объявили Германии войну. Оказавшись в безопасности в Дании, Клаус снова взялся за перо 8 сентября. Его мысли обратились к родителям и бабушке, которых ему пришлось оставить в Эссене, – и от этого, как он обнаружил, «на душе становится очень грустно» [19]. Пик еврейской эмиграции пришелся на 1939 г.: за это время, подгоняемые впечатлением от погрома 1938 г. и вновь возникшего страха перед войной, Герма-

нию покинули 78 000 евреев. Но не всем удавалось преодолеть огромные бюрократические и финансовые препятствия, связанные с выездом из страны или получением въездных виз в другие страны. К началу войны в Рейхе оставалось 185 000 зарегистрированных евреев, что составляло примерно 40 % еврейского населения по состоянию на 1933 г. Еще 21 000 человек из этой стареющей и беднеющей общины, сосредоточенной в основном в городах, особенно в Берлине и Франкфурте, успели уехать до того, как в октябре 1941 г. эмиграция была полностью запрещена. Но к тому времени 30 000 беженцев снова попали в руки немецких завоевателей, и накануне «окончательного решения еврейского вопроса» 25 000 еврейских детей, подростков и молодых людей в возрасте до 25 лет по-прежнему находились в ловушке Старого рейха – в германских границах 1937 г. [20]

С введением 28 августа 1939 г. продовольственного нормирования евреи снова оказались в центре внимания. Их продовольственные карточки, помеченные буквой «J» (*Jude*), напоминали соседям, другим покупателям и продавцам о необходимости соблюдать множество новых правил, определявших, где евреи могут делать покупки и какие продукты им покупать запрещено. Местные власти устанавливали собственные ограничения, чтобы евреи не доставляли неудобств немецким покупателям. В Бреслау евреям разрешалось делать покупки только с 11 до 13 часов. В Берлине им отводилось для этого время с 16 до 17 часов – одной маленькой девочке, собравшейся выйти из своего многоквартирного дома с сумкой для покупок, решительно преградила дорогу соседка. Указав на большие часы, висевшие по диагонали на другой стороне улицы перед аптекой и показывавшие, что до четырех часов оставалось еще несколько минут, женщина встала у девочки на дороге и строго заявила: «Тебе еще нельзя выходить в магазин, я не выпущу тебя отсюда» [21].

В магазинах начали вешать объявления, предупреждавшие, что евреям не продают дефицитные продукты. В повседневную жизнь закрадывалось все больше ограничений. Между погромом 9 ноября 1938 г. и началом войны было издано 229 антиеврейских указов. С начала войны до осени 1941 г. власти вырабатывали отдельный антиеврейский вариант для каждой новой меры, регулировавшей жизнь немецкого тыла, и издали еще 525 отдельных указов, ограничивавших повседневную жизнь евреев. Им запрещалось покупать нижнее белье, обувь и одежду даже для детей-подростков. Они должны были сдать властям всех домашних животных, радиоприемники и проигрыватели. Деду Томаса Геве, бывшему армейскому врачу, ослепшему во время Первой мировой войны, было трудно обходиться без своего кристаллического радиоприемника и наушников – он больше не мог следить за событиями. Этот горячий патриот Пруссии, ассимилированный немецкий еврей, любивший под настроение петь своему десятилетнему внуку старую солдатскую песенку *Ich hatt' einen Kameraden*, оказался заперт в безмолвном мире – слепой старик, не способный понять, как изменилась его родина [22].

Но юному Томасу жизнь по-прежнему казалась захватывающей. Мальчишки из его квартала не стали бы играть с ним, зная, что он еврей. Но, отправляясь в другие районы, где у него не было знакомых, он мог наслаждаться анонимностью улицы и присоединяться к играм других берлинских детей. Кроме того, найти товарищей по играм ему помогали друзья – наполовину евреи. Война пока еще не сильно повлияла на обычные игры большинства берлинских мальчишек. С приближением Рождества дети подолгу стояли у витрин магазинов, прижимаясь к ним носами, или ходили гулять в большие универмаги. В самом большом универмаге Берлина, KaDeWe, Томас Геве с изумлением рассматривал витрины, в которых воссоздавались сцены из фильмов. Но чаще всего дети приходили туда посмотреть на самую большую в Берлине коллекцию фигур сказочных персонажей в натуральную величину и на огромные армии игрушечных солдатиков. Весной, как только тротуары очищали от снега и льда, Отто Прешер и его товарищи из рабочего квартала Кройцберг высыпали на улицы, чтобы поиграть с волчком: они подхлестывали его кнутиком, заставляя перепрыгивать с одной широкой тротуарной плитки на другую. Летом они привычно бегали босиком за телегами поливальщиков, то забе-

гая под струи воды, то ловко уворачиваясь от них. В поставленных около бордюров корытах, из которых пили лошади, запряженные в подводы пивоваров, дети запускали кораблики, сложенные из выброшенных газет [23].

На школьных площадках мальчики, охваченные неведомой девочкам манией, лихорадочно менялись сигаретными карточками: собравшись по двое, они склоняли головы над стопками карточек и перетасовывали их, удовлетворенно бормоча: «Эта есть, эта есть, эта есть...», пока им не попадалась новая карточка, которую они могли бы обменять. Даже шестиклассник Дирк Зиверт собрал три альбома сигаретных карточек *Reemtsma*, посвященных искусству эпохи Возрождения и барокко, не говоря уже о захватывающих сериях «Германия пробуждается» и «Адольф Гитлер». Томас Геве в этом смысле ничем не отличался от других мальчиков, за исключением того, что в течение нескольких месяцев до начала войны у него была возможность коллекционировать английские сигаретные карточки. Отец Томаса, ожидавший, что семья вскоре переедет к нему в Британию, летом 1939 г. делал необходимые приготовления и попутно переписывался с сыном, присылая ему сигаретные карточки с выдержками из энциклопедий. Мысль о том, что мир можно разделить на подобные информационные капсулы, оказала глубокое влияние на Томаса. В конце войны, снова начав связывать нити своей жизни в Бухенвальде, он вспомнил об этой идее, когда искал способ поделиться своими знаниями с отцом. Но никакие сигаретные карточки не могли бы рассказать о том мире, из которого он вышел, – для этого ему потребовалось начать говорить самому [24].

Хотя в 1939 г. Томасу приходилось скрывать свое еврейское происхождение, чтобы найти немецких товарищей по играм, большинство немецких детей в это время уже не имели прямых контактов с евреями. Нюрнбергские расовые законы 1935 г. закрыли для евреев доступ в «немецкие» школы, но еще раньше многие ученики-евреи ушли сами, спасаясь от дискриминации и издевательств. Антисемитизм быстро положил конец смешанным бракам, а молодежь из еврейской общины, заметно окрепшей в годы Веймарской республики, отныне стремилась завязывать дружеские и романтические отношения в своей среде. После массового исхода еврейской молодежи с волной эмиграции, последовавшей за погромом 1938 г., немецкие дети стали еще меньше контактировать с еврейскими детьми своего возраста: в больших городах они видели в основном пожилых и постепенно бедневших еврейских мужчин и женщин. В Нюрнберге Гуго Ридл написал к Рождеству 1938 г. удостоенное премии эссе о евреях. В нем одиннадцатилетний мальчик с одобрением цитировал местного гауляйтера Юлиуса Штрайхера и его ожесточенно антисемитский еженедельник «Штурмовик» (*Der Stürmer*), повторяя подхваченные в нем клише. Упомянув в начале эссе о «коварстве», «лживости» и «кровожадности» евреев, Гуго заявлял, что «Германия неизменно хочет мира», в то время как «еврей повсюду разжигает войну», а «после того, как еврей застрелил секретаря посольства в Париже, гнев товарищей по нацизму стал безграничным. Они разгромили еврейские предприятия. Теперь еврею приходится собирать свои пожитки и уезжать за границу». Рисунок Гуго, изображающий еврея в домашнем халате, вытирающего лысину носовым платком и сжимающего дорожную сумку, словно сошел прямоком со страниц «Штурмовика» [25].

Не все дети так же воодушевленно воспринимали эту разновидность нацистского антисемитизма, но в целом она встречала мало сопротивления. В школах, в гитлерюгенде, из радиопередач, а часто и в семье молодые люди усваивали негативное отношение к евреям. Переехав в Мюнхен в январе 1939 г., семья Вайсмюллер обнаружила у себя в соседях евреев. Каждый день, когда десятилетний Рудольф в форме юнгфолька возвращался из школы, добрая старая фрау Вольфсхаймер здоровалась с ним на лестничной клетке, и он отвечал: «*Griuss Gott, Frau Wolfsheimer*», а зимой снимал шапку. Она протягивала руку, чтобы погладить его по волосам, и он внутренне вздрагивал, как будто ее прикосновение было заразным. К большой зависти Рудольфа, его старший брат Гельмут в 1933 г. вступил в юнгфольк (младшее отделение гитлерюгенда для детей от 10 до 14 лет), и Рудольф, которому тогда было всего четыре года, следу-

ющие шесть лет провел в мечтах о такой же униформе, кисточках и, самое главное, кортике. Теперь и он их заслужил, а попутно оба мальчика узнали, что на уроках музыки в школе им нельзя играть Феликса Мендельсона, «потому что еврей не может думать, как немец». При всей симпатии к фрау Вольфсхаймер Рудольф чувствовал, что между ними стоит непреодолимый барьер [26].

Война придала обычной деятельности гитлерюгенда дополнительный смысл. Детей в городах отправляли собирать вторсырье для промышленной переработки или раздавать помощь нуждающимся в рамках нацистской программы «Зимняя помощь». Они ходили в лес и собирали огромное количество лекарственных трав, особенно ромашки и крапивы, из которых, как им говорили, будут делать мази. Поскольку школы и гитлерюгенд сотрудничали, эти мероприятия проводили регулярно каждую неделю, отводя на них время после уроков или в субботу утром, и дети чувствовали, что вносят свой вклад в военную экономику. В Гамбурге Ганс Юрген Харнак и его одноклассники собирали у соседей кости, которые затем отправляли на фабрику в Люнебурге для переработки в костную муку. Все это было необходимо, серьезно объяснял Ганс в своем школьном сочинении, потому что после «мировой войны Германия потеряла свои колонии – их захватила Англия. Так что нам приходится самостоятельно добывать для себя сырье». В первый год войны ученики другой гамбургской школы собрали 2054 килограмма костей; школьники, уклонявшиеся от этих сборов, могли ожидать наказания от своих учителей. В апреле 1940 г. власти уже выражали беспокойство в связи с тем, что люди, желая «принести жертву фюреру», отдают на сбор металлолома ценные произведения искусства [27].

Тем временем Томас Геве и его уличные товарищи начали собирать совсем другие вещи – они выпрашивали у прохожих значки. В каждой организации, занятой собирательством на благие цели, раздавали миниатюрные значки в виде резных деревянных кукол, самолетов, пушек или снарядов. Такой значок, приколотый на лацкан пиджака или пальто, показывал, что его владелец внес вклад в общее дело. Когда мальчики останавливали людей на улице и спрашивали, могут ли они получить эти значки, многие взрослые думали, что это просто часть очередной кампании по утилизации и переработке [28].

В марте 1939 г. членство в гитлерюгенде стало обязательным для всех подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а последние крупные конкуренты нацистов – католические молодежные организации – были уничтожены. С апреля 1940 г. всех десятилетних мальчиков и девочек обязали вступить в юнгфольк или юнгмёдельбунд (младшие отделения гитлерюгенда и Союза немецких девушек) и на церемонии посвящения принести клятву верности фюреру:

Фюрер, ты наш командир! Мы выступаем во имя тебя. Рейх есть цель нашей борьбы, ее начало и конец [29].

Хотя многие родители, особенно придерживавшиеся строго католических, социал-демократических или коммунистических взглядов, были не в восторге от зачисления своих детей в такие организации, на самих подростков чувство сопричастности чему-то большему и облачение в униформу оказывали мощное влияние. Одна берлинская девочка очень расстроилась, когда родители отказались купить ей форму после того, как весь ее класс приняли в юнгмёдельбунд. Как будто она была недостаточно несчастна со своими редкими темными волосами, не идущими ни в какое сравнение с густыми светлыми косами ее счастливых, уверенных в себе и успешных одноклассниц [30].

Католическая церковь и антинацистски настроенные родители опасались, что гитлерюгенд будет подвергать молодежь идеологической обработке, родители и учителя возмущались, что гитлерюгенд бросает вызов их авторитету, но именно эти вещи нередко нравились самой молодежи. Нацистские ценности с их четкой дихотомией добра и зла, обращением к чувствам и требованием нравственной преданности делу, были словно специально созданы для подрост-

ков, и именно в этой группе немецкого населения их влияние во время Второй мировой войны просуществовало дольше всего. Летние походы с палатками и велосипедные туры доставляли молодежи огромное удовольствие, особенно в тех местных группах, которые оставались близки к старому идеалу «Молодые ведут молодых». Ощущение, что в жизни появилось нечто новое, помимо необходимости слушаться взрослых дома и в школе, создавало на обычных дневных тренировках и вечерних собраниях атмосферу сплоченности, сопричастности и взрослости [31].

Союз немецких девушек начал шить из старых шерстяных одеял и плести из соломы тапочки для военных госпиталей. Девушки приходили на станции и раздавали солдатам из прибывающих военных эшелонов кофе, суп и пакеты с бутербродами. Они приезжали помогать в детских садах, находившихся в ведении нацистской организации социального обеспечения, и пытались восполнить хроническую нехватку учителей, взяв на себя обязанности помощников учителя. В Тюрингии Лизе, получившая звание лидера в Союзе немецких девушек, с головой погрузилась в работу и в письмах отцу на фронт с гордостью рассказывала об организованных ею сборах «макулатуры, металлолома, ветоши, шиповника и лекарственных трав». Перечисляя все отчеты, которые ей приходилось писать в придачу к школьным домашним заданиям, она шутливо обращалась к нему с двойным приветствием: «Мой дорогой папочка (и уважаемый господин капитан)» и подписывалась: «Специальный корреспондент Лизе». Упомянув о череде званых вечеров и свадеб, на которых часто бывала ее мать, Лизе не говорила прямо, что считает такое времяпровождение легкомысленным, однако явно показывала отцу, насколько ей ближе его серьезный мир. Всего одним словом – *Dienst*, «служба» – она приравнивала свою работу в Союзе немецких девушек к взрослому мужскому миру военной службы отца. Он, в свою очередь, рекомендовал ей изучить стенографию, чтобы приносить еще больше пользы своей стране и дать ему новый повод гордиться дочерью [32].

Но далеко не все матери проводили время на званых вечерах за кофе с пирожными – у многих хватало гораздо более насущных дел. Хотя женщин не мобилизовали в рамках военной экономики, общая нехватка рабочей силы стала заметна довольно скоро. Замужние женщины вернулись в школы, чтобы заменить призванных на фронт мужчин-учителей, женщины из рабочего класса устраивались работать на военные заводы, а в традиционных (и плохо оплачиваемых) секторах женской занятости, таких как сельское хозяйство и домашняя прислуга, внезапно стало остро не хватать рабочих рук. У женщин из среднего класса возникла явственная «проблема с прислугой», хотя Гитлер до 1943 г. упорно отказывался одобрить мобилизацию домработниц на оружейные заводы. Правительство изо всех сил старалось не истощать терпение тыла, чтобы не вызвать у гражданского населения такой же упадок духа, как во время Первой мировой, однако война понемногу давала о себе знать. Поначалу это выражалось лишь в небольших нарушениях привычного уклада. Матерям все чаще приходилось просить старших детей присмотреть за младшими, пока они сами стояли в очередях за дефицитными товарами, ходили по инстанциям или брали на себя управление семейным делом [33].

Занятия в школах проходили беспорядочно. Даже после того, как в школах перестали работать центры регистрации военных, классы нередко сокращали вдвое, потому что помещения реквизировали под медпункты, кабинеты чиновников, выдающих продовольственные карточки, и пункты сбора макулатуры. Отсутствие классных комнат и ограниченное пространство в бомбоубежищах вынуждало многие школы урезать учебные часы, особенно для младших групп, и проводить занятия в две смены – утром и днем. Каждый раз, когда часы менялись, матерям, занятым уходом за детьми, приходилось менять свой распорядок дня, и в годы войны управляющие оружейными заводами нередко жаловались, что немецкие работницы прогуливают смены и не соблюдают расписание. Не успели матери приспособиться к новому школьному календарю, как уроки снова прекратились. Зимой 1939/40 г. возникла хроническая нехватка угля, и практически все берлинские школы закрылись на период с 28 января по 28

марта 1940 г. Дети от души радовались «угольным каникулам», но их матери были совсем не так довольны [34].

Некоторые дети заполняли свободное время с помощью хобби. На уроках рисования и ручного труда мальчики нередко мастерили масштабные модели планеров и самолетов – в этом деле, как с гордостью вспоминал учитель из берлинского рабочего района Шпандау, мальчишки из простой народной школы могли превзойти изнеженных учеников гимназии. Начав со строительства моделей, мальчики затем могли перейти в учебный авиационный корпус гитлерюгенда, где использовали полученные навыки для строительства настоящих планеров [35].

Кто-то вместо стандартных упражнений в стрельбе и строевой подготовки находил себе место в гитлерюгенде через искусство. Музыкально одаренного Эрмбрехта из Кенигсберга (Восточная Пруссия) взяли в местный хор на радио; талант четырнадцатилетнего Герберта К. к игре на аккордеоне заметили в летнем лагере для берлинских мальчиков и пригласили его играть на радио в ансамбле Рейхсюгенда. Для участия в вечерних прямых трансляциях четырнадцатилетнему юноше выдали специальный пропуск, чтобы он мог возвращаться в полночь, не нарушая новые правила комендантского часа для несовершеннолетних. Мать Герберта очень беспокоилась, подозревая, что на самом деле он тайно ходит на свидания с девушкой, и однажды вечером последовала за ним до студии и обратно. Как оказалось, ей было не о чем волноваться: ему вполне хватало упоения свободой и новыми возможностями [36]. Женщины, в военное время фактически превратившиеся в матерей-одиночек, нередко приветствовали такую возможность занять детей делом. Многие, вероятно, беспокоились, что могут утратить влияние на детей, но гитлерюгенд обязан был уважать целостность немецкой семьи, в том числе право родителей не позволять своим детям посещать вечерние собрания. В свою очередь гитлерюгенд часто напоминал детям, что в общественных местах они должны вести себя вежливо и уважительно, особенно с матерями. Возникший позднее миф о том, что детей заставляли шпионить за родителями, имеет крайне мало подтверждений. В действительности люди крайне редко доносили в полицию на своих близких родственников. Возможно, самые юные действительно охотно взяли бы на себя роль местных сыщиков, но доносить на соседей детям было далеко не так интересно, как взрослым [37].

Несмотря на все разговоры о долге и необходимости потуже затянуть пояса, война порой давала возможность, наоборот, больше потакать своим прихотям. Дирк Зиверт охотно пользовался возможностью сбежать от монотонных будней, наполненных школьными уроками и обучением мальчиков 10–14 лет в юнгфольке. В начале апреля 1940 г. он гораздо чаще бывал по вечерам в театре и кино, чем на мероприятиях гитлерюгенда. За одну неделю он успел послушать в опере «Пер Гюнта», посмотреть романтический фильм *Dein Leben gehört mir* («Твоя жизнь принадлежит мне») в кино и «Ифигению» Гете в городском театре. Возможность сбежать от родительских упреков сама по себе составляла немалую часть очарования жизни военного. Старший брат Дирка Гюнтер, приезжая в увольнение с фронта, привозил с собой новые разгульные привычки и приобщил Дирка к алкоголю, кутежу и картам. Он даже позволял младшему брату нарушать комендантский час для несовершеннолетних – брал его с собой, когда отправлялся вместе с друзьями и своей девушкой гулять в город. 21 декабря 1940 г. Дирк с сожалением признавался в своем дневнике, что Гюнтер, похоже, в скором времени «превратит всю семью в пьяниц» [38].

Но даже если мальчики из рабочего класса бросали школу, обойтись без гитлерюгенда им было не так просто. Тринадцатилетний Фриц Тейлен, захотевший работать на заводе Форда в Кёльне, обнаружил, что предприятие принимает в подмастерья только членов гитлерюгенда. Глава местного отделения отказался сделать для него исключение даже после того, как отец Фрица вернулся из увольнения и лично вмешался в дело, пригрозив молодому функционеру молодежного движения табельным пистолетом. Обращение к одному из старых коллег, мастеру из автомастерской, принесло больше пользы, и вскоре Фриц снова оказался не только в рядах

гитлерюгенда, но и, вместе с другими подмастерьями с завода Форда, в элитном моторизованном подразделении [39].

Отсутствующие отцы могли влиять на поведение своих детей в лучшем случае через письма. Отец девятилетнего Рихарда призывал его воспитывать в себе мужество. Убеждая мальчика готовиться к будущей роли солдата и научиться самому штопать носки, он заверял его, что тоже «делает это здесь, и будет хорошо, если ты будешь уметь это делать». В письмах отцы спрашивали детей об успехах в школе. Дети, не зная, о чем рассказать, нередко старались придерживаться общих условно интересных тем. О том, что они забросили уроки фортепиано, сообщали с опаской, о хороших отметках по математике, английскому и латыни – с гордостью. Некоторые дети рассказывали, как матери в награду за успехи устраивали для них специальные прогулки. Некоторые отцы не забывали присылать деньги в качестве поощрения. Отец Рихарда даже попросил сына дать ему почитать свою домашнюю работу. Поскольку мальчик предпочитал рисовать картинки, отец взял на себя труд «улучшить» его рисунки, чтобы научить сына соблюдать правильные пропорции [40].

Помимо этого отцам приходилось объяснять в своих письмах, почему они не могут приехать домой на детский день рождения, Рождество или Троицу, не имея возможности сказать, чем они на самом деле занимаются. Косвенные намеки на подготовку к «великим событиям» едва ли удовлетворяли любопытство детей, которым было трудно вообразить, где находятся их отцы и что они делают. Десятилетнего Детлефа начало войны привело в огромное волнение – он попросил отца нарисовать свой блиндаж, чтобы лучше понять, что это такое, и отправил отцу собственную версию с подписью: «Блиндаж похож на это?» [41]

Другой отец посоветовал дочери посмотреть фотографии в журналах, так как сам он не мог сфотографировать интерьер своего блокгауза. В период «Странной войны» письма с Западного фронта нередко напоминали дневники путешествий. Отец Розмари писал со своей бездействующей артиллерийской позиции на границе с Францией вдоль Рейна о заснеженных вершинах Шварцвальда. Когда температура снизилась до -25°C , немногочисленные птицы стали падать с веток, и они вместе с товарищем по имени Зепп начали подкармливать их на подоконнике блиндажа. Обстановка была настолько домашняя, размышлял он, что случайный прохожий вряд ли поверил бы, что их батарея способна всего за три минуты подготовить отлично замаскированные орудия к стрельбе. К счастью, «порядочные» французы пока не открывали огонь, хотя их снайперы легко могли рассмотреть с 200 метров его офицерскую фуражку. Возможно, им тоже нравилось наблюдать за тем, как он кормит с руки оленей [42].

На протяжении всей Второй мировой войны дети играли в военные игры. Двенадцатилетняя Розмари из школы-интерната в Крумбахе с упоением описывала в письме к отцу, служившему в артиллерийской батарее, свои боевые подвиги в первую зиму войны. Как-то раз девочки поколотили мальчиков, которые пытались забаррикадировать их столами и стульями, пока все они оставались без присмотра в школьном спортзале. Десятилетний Детлеф из городка в Вестфалии живо передавал в письмах своему отцу-рядовому азарт детских сражений, описывая, как его команда отвоевывает позиции под «смертоносным огнем». Они использовали в качестве ручных гранат палки, но их противники бросали камни. Детлеф возглавил атаку с поднятой «саблей» и на время обратил врага в бегство. «Никто из нас не заплакал, и мы победили», – торжествуя, писал он отцу [43].

Если до войны младшие дети завидовали мундирам гитлерюгенда, украшенным кисточками и позументами, которые носили их старшие братья, то теперь они страстно желали заполучить военные трофеи и вражеское снаряжение. Восемилетний Кристоф Мейер в письме к своему старшему брату Вернеру умолял его прислать французское кепи и эполеты, чтобы в игре он мог выглядеть как настоящий «генерал». «Пожалуйста, раздобудь их для меня как можно скорее, – просил он, – я уже очень их жду». Два года спустя Кристоф все так же писал

брату о том, как мальчики из Эйзерсдорфа под его руководством ведут «войну против Ренгерсдорфа» [44].

Кристоф, отчаянно стремившийся привнести в свои военные игры дух нового времени, на самом деле продолжал прекрасную старую традицию, следуя которой мальчики из одной деревни сражались с мальчиками из другой. В городах мальчики из рабочего класса собирались в банды и сражались за соседние территории, разделенные трамвайными путями или каналами. Похожие бои велись в городах и поселках на протяжении веков. Повсюду в этих играх, происходивших вдали от глаз взрослых, заводителами выступали старшие ребята. Со временем менялись только роли вожаков, которые дети оспаривали друг у друга. В 1810 г. дети из Кельна хотели быть «королем» или «атаманом разбойников», а в межвоенный период немецкие и австрийские дети играли в *Rauber und Gendarme* – полицейских и грабителей [45]. Элементы настоящего военного снаряжения, такие как кепи, о котором просил Кристоф, могли принести дополнительное уважение, но принципиально не меняли отношение к игре, в которую мальчики играли со своими друзьями. Суть этой ролевой игры оставалась неизменной с тех пор, когда «короли» сражались с «предводителями разбойников». Но к концу войны характер ролевых игр в Германии стал иным, а в оккупированной Польше они кардинально трансформировались [46].

Пока же большинство немецких детей знакомились с этой войной по цветным школьным картам и высокопарным военным сводкам по радио, слушая разговоры взрослых и сочиняя письма отсутствующим отцам и братьям с просьбами прислать им какие-нибудь особенные вещи, такие как настоящие ручки вместо стеклянных перьев, которые разбрызгивали чернила по странице. Через два месяца после того, как отца призвали на фронт, Детлеф подружился с солдатом из медицинского корпуса, который хорошо умел обходиться с лошадьми и иногда угощал Детлефа конфетами или давал ему попробовать хлеб и колбасу из своего армейского пайка. Некоторые маленькие дети при виде проходивших мимо солдат выкрикивали: «Папа, папа!», чем вызывали у взрослых смех [47].

Вскоре дети сообразили, что нелюбимого учителя можно отвлечь от домашнего задания или проверки диктантов, если спросить какие-нибудь новости с фронта. Именно так Марта Янн и ее одноклассники в Гинденбурге в Верхней Силезии морочили голову своему суровому учителю английского с деревянной ногой. Но военные новости часто звучали не слишком увлекательно, и отсутствующие отцы начинали казаться все более далекими и чужими. На уроках немецкого языка учителя специально отводили время для писем отцам и братьям на фронт, но, вероятно, довольно часто это превращалось в рутину, и дети не могли толком придумать, что написать. Иногда учителя даже сами диктовали детям письма. Постепенно и незаметно дети теряли связь с отцами [48].

Девочкам из средних и старших классов предлагали расширить круг привязанностей и писать письма солдатам на фронт. Возродив практику, возникшую в Германии и Австрии во время Первой мировой войны, девочки вязали для мужчин носки и перчатки и отправляли на фронт эти патриотические «дары любви». Иногда дружеская переписка становилась довольно оживленной и даже перерастала в романтическую связь. Периоды затишья в боевых действиях позволяли солдатам блеснуть перед местными жителями военным опытом, а присутствие войск в немецких городах провоцировало приступы массового обожания – впрочем, часто вполне невинного и не имевшего сексуального подтекста. Доротея Дангель из восточно-пруссской деревни под Растенбургом так долго стояла на улице с подругой, махала рукой и бросала цветы проходящим солдатам, что получила нагоняй от отца [49].

Жители Фирзена близ голландской границы еще не видели в своей жизни ничего подобного. Зимой и весной 1939/40 г. в городе один за другим расквартировались несколько полков, вызвав ажиотаж в барах, театрах и кафе и вскружив головы девушкам. Сначала явилась пехота – лейтенанту Лемке отвели комнату для гостей в большом фамильном доме Герты Слендерс.

Его денщик Робби сразу нашел общий язык с их горничной Мартой. За пехотой пришли две пионерные (саперные) части, а затем танковый полк Левински, который простоял в городке полгода. Капитан, которого поселили в гостевой комнате, предпочитал тихо проводить время в гостиной за чтением и письмом, а денщики тем временем отирались на кухне. Иногда к ним присоединялся еще один остановившийся в доме офицер – старший лейтенант, которого все называли «начальник», потому что он командовал ротой. Он тоже дразнил на кухне горничных и очаровывал детей. Приехавшего через некоторое время младшего брата «начальника» по имени Макс быстро приняли в семью – дети почти сразу начали называть его домашним прозвищем Максхен. Четырехлетняя сестра Герты Улла вскоре очаровала всех мужчин: она устраивалась у них на коленях, и солдаты и офицеры с удовольствием играли роль старших братьев и дядей. Недавно вернувшиеся из польской кампании, мужчины чувствовали себя хорошо отдохнувшими и находились в приподнятом расположении духа. К вящей радости старших детей, их постояльцы нередко возвращались домой слишком поздно, и тогда им приходилось перелезть через перила балкона и на цыпочках подниматься по лестнице в одних носках. Однажды ночью мать Герты застала их на чердаке, где они играли с найденной на полу электрической железной дорогой. Герта и ее братья вскоре выучили наизусть множество солдатских песен. Герту огорчало только одно: даже после того, как она коротко остригла волосы, никто не воспринимал ее как взрослую. Она могла только смотреть и мечтать о том, чтобы стать старше своих 13 лет, в то время как взрослые мужчины в последний раз играли в подростков [50].

10 мая 1940 г., после того как Германия на рассвете выступила против Нидерландов, танковый полк двинулся в сторону границы. Перед отъездом они сделали в саду последнее общее фото, на котором Улла сидела на коленях у Максхена, и отправили фото его матери в фамильное поместье в восточных провинциях. Следующие несколько дней солдаты нескончаемым потоком шли через Фирзен в сторону Нидерландов, и весь город предлагал им еду и питье. Многие солдаты были так измотаны переходом, что не могли разговаривать и не останавливались ни на минуту, так что детям приходилось бежать рядом, чтобы забрать у них из рук опустевшие кружки. Вскоре Герта Слендерс узнала, что их первый постоялец, лейтенант Лемке, возглавил атаку пехоты через голландскую границу. 16 мая дети сидели на верхушке вырубки и махали солдатам, стоявшим в открытых дверях длинных эшелонов, уходивших на фронт. Поездам часто приходилось останавливаться и дожидаться второго локомотива, который тянул длинные вереницы вагонов для скота с замаскированными еловыми ветками крышами вверх по небольшому склону.

Затем дети сбегали по насыпи, чтобы принести солдатам какое-нибудь питье. 17 мая пришла телеграмма, в которой говорилось, что Максхен ранен в спину и лечится в военном госпитале в Аахене. Не имея возможности навестить его, поскольку все железные дороги были отданы для военных нужд, его мать вынужденно довольствовалась лишь теми новостями о его ранении и выздоровлении, которые передавала ей мать Герты, что еще больше укрепило связь между двумя семьями. 24 мая пришло известие, что худшее позади и Макс идет на поправку. 28 мая Герта отметила в дневнике капитуляцию Бельгии, а 4 июня отпраздновала падение Дюнкерка, надеясь, что по дороге обратно полк снова пройдет через Фирзен. 14 июня, всего через пять недель после перехода нидерландской границы, Герта узнала, что вермахт вошел в Париж, и начала считать дни до возвращения танкового полка. Наконец ее ожидание было вознаграждено: в начале декабря полк снова заглянул в город и дал в ратуше торжественный концерт, на котором исполняли марши Бетховена, Верди, Вагнера и легиона «Кондор». В антракте командир первой роты старший лейтенант Фриц Фехнер рассказывал об «опыте полка во Франции». Однако для Герты главным событием вечера стало то, что ей разрешили сопровождать Макса, а на следующее утро позволили пропустить школу [51].

Все 1920-е гг. немецких школьников учили видеть во Франции «потомственного врага». Теперь она, словно мифическое чудовище, лежала поверженной. Тележурнал «Немецкое еже-

недельное обозрение» (*Wochenschau*) показывал во всех кинотеатрах страны колонны одетых с иголки немецких солдат, выходящих на солнечный свет из тени Триумфальной арки (за последние два года посещаемость кинотеатров выросла вдвое). Забыв о том, что Британия еще не побеждена, забыв о привычке сетовать на нехватку средств, высокомерие и продажность нацистских чиновников высшего и низшего звена, люди направили поток эйфорического восторга на Гитлера, признавая, как выразился президент правительства Швабии, «всецело, с ликованием и благодарностью, сверхчеловеческое величие фюрера и его дел». Те, у кого еще оставались сомнения после аншлюса Австрии или расчленения Чехословакии, ныне увидели национального мессию. Гитлер бесконечно проповедовал немецкому народу, как капитуляция 1918 г. оставила их в стальном кольце врагов. Даже после завоевания Польши мало кто из немцев хотел праздновать победу. Но теперь публика жадно ждала новых кадров с фюрером, и каждый из них вызывал оживленное обсуждение – какое у него выражение лица, какой взгляд, серьезен он или смеется. Люди смотрели «Обозрение», ожидая увидеть его, и разочаровывались, когда видели только других лидеров [52].

Гитлер добился того, что девять месяцев назад казалось невозможным: он избавил немецкий народ от еще одной мировой войны, по масштабам сравнимой с первой. Блицкриг сократил военные действия, избавив гражданское население от ужасных лишений, которым оно подверглось в 1914–1919 гг. И самое главное, немцы несли крайне низкие потери. По сообщению вермахта, во время французской кампании было потеряно 26 500 человек – для сравнения, в 1914–1918 гг. погибло 2 миллиона. Позднее вермахту пришлось пересмотреть число погибших в сторону увеличения, но даже так, если бы война закончилась этим летом, как все ожидали, в ходе завоевания Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Франции страна потеряла бы не больше 60 000 человек. Когда Гитлер распорядился неделю звонить в колокола и десять дней поднимать флаги, большинство людей с воодушевлением откликнулись на этот призыв [53].

Мать Гретель Бехтольд была среди тех немногих, кто не присоединился к общему ликованию. Для нее триумф омрачился гибелью ее сына Вальтера, служившего в артиллерии под Лангемарком. Ни его близость к легендарному полю битвы, где развернулось сражение в ноябре 1914 г., ни уверенность в том, что ее сын «доблестно отдал свою жизнь на войне ради величия и сохранения нации и во имя фюрера», не утешали ее. Фрау Бехтольд больше никогда не поднимала над домом флаг. На самом деле, для такой короткой кампании потери были довольно высокими. Фрау Бехтольд как одержимая собирала вырезки из газет с сообщениями о смерти местных жителей. Вальтер был четвертым погибшим в их окрестностях. Его младшая сестра Гретель в последний раз писала ему 16 мая – затаив дыхание, она рассказывала об их новом голубе и о том, что устроенный отцом беспорядок в подвале помешал им попасть внутрь во время их первого короткого воздушного налета британских ВВС. Со смертью брата она лишилась того, с кем могла поделиться сокровенными мыслями [54].

В июне того же года в Крумбахе Розмари увидела кадры военной кинохроники в фильме «Германцы входят в Голландию и Бельгию». Вид разрушений потряс ее, хотя создатели фильма позаботились о том, чтобы на экране не было человеческих страданий. Бдительно подчищенные кадры, тем не менее, показались девочке «очень правдоподобными». В Южной Германии уже созревало зерно и начался сенокос, и она с ужасом представляла, что было бы, если вместо всего этого здесь были такие же «воронки от снарядов, обстрелянные деревни и совершенно голая земля». Ей оставалось только надеяться, что война скоро закончится, и занимать себя мыслями о будущей жизни в колониях. Хотя многие немецкие дети разделяли ее интерес к колониям, в то лето мало кто разделял ее тревогу. У сидящих в кинотеатре детей и взрослых захватывало дух от рева двигателей люфтваффе, дружного пения летчиков, опьяняющей технологической мощи. Бомбы падали на экранах в замедленной съемке под аккомпанемент симфонического оркестра и превращали польские дороги в мелкий щебень. Фильм снова

напоминал, что Польша первой начала войну по указке Англии и Франции. Первые кадры кинохроники с чернокожими французскими военнопленными вызывали у публики в кинотеатрах спонтанное возмущение, а некоторые призывали немедленно их расстрелять [55].

По всей стране и дети, и взрослые охотно слушали рассказы ветеранов о войне. Тем летом в Бохуме Карл Хайнц Бодекер встретил на улице друга своего отца и привел его домой. Тринадцатилетний мальчик был поражен и восхищен: этот беспечный человек превратился в отважного солдата и к тому же успел получить медаль. Карла Хайнца впечатлило и то, что он оставался таким же вежливым и внимательным, как прежде, и отказался принять ванну и отдохнуть в заправленной свежим бельем постели, чтобы не доставлять его матери лишних хлопот, хотя все же задремал после полудня в гостиной, когда слушал пластинки из их коллекции. Вернувшийся домой отец Карла Хайнца разлил по рюмкам спиртное, и все замолчали, а их гость начал говорить. Он рассказывал, что страх перед атакой довольно быстро прошел, и не придавал большого значения своей ране. Прочитав этот довольно типичный для школьника пересказ военного сюжета, учитель немецкого языка поставил Карлу Хайнцу оценку «хорошо» [56].

К тому времени Инспекция вооружений сообщила, что даже рабочие тех специальностей, которые не подлежали отправке на фронт, с нетерпением ждут возможности записаться в армию. В Оснабрюке Дирк Зиверт собрался поступить добровольцем в моторизованную пехоту, однако обнаружил, что в семнадцать лет еще слишком молод для этого и в любом случае должен предварительно пройти обязательную трудовую практику. Утомленные подготовкой к получению *Abitur* (аттестата о среднем образовании) и обязанностями в гитлерюгенде, они с друзьями осаждали канцелярии Имперской службы труда, чтобы узнать, когда им можно ожидать назначения. Армия с ее мощными мотоциклами, автоматами, кожаными плащами, полевыми биноклями, а самое главное, победоносными танками затмила в их глазах все остальное. Отлынивая от домашних заданий по латыни и групповых обсуждений с детьми 10–14 лет в юнгфольке, эти старшие подростки чувствовали, что все, что они делали, готовило их к этому моменту. Но тогда им казалось, то они рискуют опоздать на войну. Впрочем, мощь военных технологий производила впечатление даже на тех, кто не считал, что Германия ведет справедливую войну. В Берлине Томас Геве для маскировки надел форму гитлерюгенда, чтобы проскользнуть на выставку захваченной французской военной техники, куда не пускали евреев [57].

Летом 1940 г. школьные каникулы продлили, чтобы дети могли выехать за город и помочь на сборе урожая. Для многих детей атмосфера этих летних лагерей и чувство осмысленности своего труда выразились в песне:

*Aus grauer Städte Mauern
ziehn wir durch Wald und Feld...*
Из-за серых городских стен
Мы выходим в леса и поля.
Кто остался, пусть пеняет на себя,
А мы путешествуем по свету [58].

В любом случае в гитлерюгенде вели списки тех немногих, кто остался в городе, и в начале осеннего семестра эти сведения передали в школы, чтобы те могли принять соответствующие дисциплинарные меры. Но не только немецкие женщины и подростки вызвались «добровольно» помочь со сбором урожая. Тем летом и осенью в Германию было доставлено 1,2 миллиона французских и британских военнопленных. Большинство из них проводили в лагерях для военнопленных совсем немного времени – их оперативно распределяли по фермам и строительным площадкам. Дело шло гладко: армейское верховное командование, Министерство труда, Немецкий трудовой фронт, полиция и местные партийные и правительствен-

ные чиновники уже научились координировать свои усилия после того, как прошлой осенью и зимой им пришлось разместить на территории страны около 300 000 польских военнопленных. К июлю 1940 г. за ними последовали еще 311 000 польских гражданских рабочих [59].

Бюро по трудоустройству составило список не пользующихся популярностью работ, подходящих для «расово неполноценных» поляков, начиная от лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и строительства до производства кирпича, каменоломных и торфяных работ – по сути, разных видов карательного «каторжного труда», к которому СС обычно принуждали заключенных в концлагерях. Партийные и полицейские чиновники бдительно следили за тем, чтобы социальные отношения между поляками и немцами не выходили за рамки взаимодействия «хозяев» и «илотов»². До сих пор нацистская политика была направлена на формирование этнически однородного немецкого национального государства, но отныне в стране широко распространились идеи и методы, которые раньше применялись в основном в заморских колониях. Весной – осенью 1940 г. немецкие бюрократы создали систему экономического и социального апартеида. Она быстро расширилась, включив в себя гражданских рабочих из Западной Европы, и разрослась в сложную систему полицейских ограничений, расовых рангов, мелких привилегий и суровых наказаний. Нацисты обещали превратить Германию в расово чистое «народное единство» (*Volksgemeinschaft*), настоящее сообщество добропорядочных граждан, объединившихся ради общего блага. Вместо этого на улицах стало звучать больше иностранных языков, чем когда-либо прежде [60].

Потерпев поражение в войне и столкнувшись с безработицей, многие поляки поверили уверениям немцев о достойной оплате и хороших условиях труда и охотно садились в поезда, отправлявшиеся в Рейх в январе и феврале 1940 г. К апрелю из Германии обратно в Польшу просочилось достаточно сведений о действительном положении дел, и число желающих завербоваться на работу резко сократилось, а немецким властям все чаще приходилось прибегать к принуждению. Всех пятнадцатилетних подростков обязали явиться в местную польскую администрацию, чтобы получить направление на работу. В сентябре 1941 г. возраст регистрации для работы в новой, ранее польской, провинции Вартеланд (Вартегау/Позен) был снижен до 14 лет. Но на практике немцы уже опережали свои собственные правила. В Позене (Познани) двенадцатилетнюю Хелену Б. забрали прямо из школьного класса и заперли в темном товарном вагоне. По пути в Берлин поезд останавливался в небольших деревнях, где фермеры покупали девушек для работы на своих землях прямо с поезда – Хелена помнила, как они отсчитывали деньги за каждого человека [61].

² *Илоты* – государственные рабы в древнегреческой Спарте из жителей покоренной Мессении. – *Примеч. ред.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.